

## **ФИНК Виктор Григорьевич (1888-1973)**

Русский писатель (а если точнее, русско-еврейский писатель. А если еще точнее, еврейский писатель). Человек необычной судьбы.

Родился в Одессе, в семье адвоката. В 1906 году окончил коммерческое училище. Учился на юридическом факультете сначала в Одессе, а затем в Париже, где его и застала Первая Мировая война. Ушел волонтером во французскую армию и, как иностранный подданный, был записан в Иностранный легион в числе целой группы находившихся тогда во Франции русских интеллигентов, в том числе и политэмигрантов. Иностранный легион – формирование специфическое по контингенту и по нравам, и русским добровольцам пришлось туго. За бунт несколько из них были расстреляны. Незадолго до революции Виктор Финк вернулся в Россию.

Вероятно, Одесса дает какой-то особый импульс своим обитателям, и многие из них вдруг тянутся к перу или скрипичному смычку, чтобы еще и еще раз прославить свой город. Наверное, ни один провинциальный город

необъятной России не может потягаться с Одессой по числу знаменитых писателей и музыкантов. Вероятно, факт рождения Виктора Финка в Одессе также повлиял на выбор будущей профессии, и он, вернувшись на родину, начал писать рассказы и очерки.

Наибольший интерес в творчестве Виктора Финка представляет основанная на жизненных испытаниях самого автора книга из эпохи Первой Мировой войны "Иностранный легион" ("Роман в 13 новеллах", 1935), где талант писателя раскрылся по-настоящему. Сюжетно-заостренные новеллы Финка, напоминающие по манере военные рассказы Мопассана, Доде, ведутся от лица русского солдата-легионера. Страшные, нелепые, жестокие до цинизма эпизоды тыловой, окопной и боевой жизни легиона, описанные Финком, обнажают всю бессмысленность боины народов. Антимилитаристическое содержание книги не носит, однако, пацифистского оттенка. Автор убедительно показывает нарастание протеста у пестрой, разноязычной массы легионеров, впервые на войне догадавшейся об истинных виновниках мировой бойни. Острота характеристик, драматизм ситуаций сочетаются с тонким лиризмом и юмором.

Роман был сразу же отмечен и критикой, и читателями. Высоко оценивал его А.М. Горький. По словам академика Е.В.Тарле, в нем художественно воплотилась "сила правды о войне". Ученый писал: "Это сильнее и страшнее, чем Ремарк и Барбюс". Историки литературы относят "Иностранный легион" к числу лучших антивоенных романов XX века. Эта книга неоднократно переиздавалась у нас и за рубежом.

«Иностранный легион», написан с такими подробностями окопной правды, что наши ханжеские издатели заставили автора в послевоенных переизданиях книгу переработать. Книга потеряла свой раблезианский дух, а сочный и яркий образ главного героя — легионера по прозвищу Лум-Лума — сильно потускнел. Поэтому читать роман лучше все-таки в первом издании 1935 года. Стоит заметить, что по сравнению с дедовщиной в советской и российской армиях нравы Иностранного легиона, описанные Финком, выглядят даже идиллическими.

Перу В.Г.Финка принадлежат также повести и рассказы, очерки (первыми его книгами были небольшие сборники сатирико-юмористических рассказов, вышедшие в 1926 - 1927 г.г.), роман "Судьба Анри Ламбера" (опубликован в 1942 году), действие в котором происходит во Франции накануне второй мировой войны. Писатель много сил отдавал антифашистской публицистике. В послевоенные годы написал роман «Молдавская рапсодия», выступал с публицистикой, критическими статьями, написал воспоминания о французских писателях, в числе которых был Ромен Роллан, но ничем себя больше не проявил так выразительно, как в «Иностранном легионе» и своих первых рассказах двадцатых годов.

Виктор Григорьевич Финк скончался в Москве в 1973 году. Похоронен на новом Донском кладбище вблизи торца старого колумбарного здания,

справа от бывшего главного здания крематория (если стоять спиной к воротам).



**Предисловие редактора Журнала Новых Концепций**

**СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ СТАЛИНЫМ И  
ГИТЛЕРОМ В РЕШЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО  
ВОПРОСА ПРОХОДИЛО С ПЕРЕМЕННЫМ  
УСПЕХОМ.**

Соревнование между Сталиным и Гитлером (а также и Англией, состязавшейся вне «конкурса» - тем, что не дала евреям возможность создать государство в Палестине, хотя мандат Лиги Наций, ею полученный, прямо это предписывал, то есть соревновавшейся с Гитлером и Сталином в еврейском вопросе якобы неучастием) проходило с переменным успехом. В двадцатые годы В СССР возникла идея создания в Крыму еврейских сельскохозяйственных артелей. И несколько таких артелей – предшественниц колхозов - действительно были созданы. Напомним, что в царской России евреям запрещалось владеть землей и работать на ней. Именно по этой причине еврейские местечки не могли превращаться в деревни. Отсюда же презрительное убеждение в том, что, поскольку евреи не работают на земле, они ленивы вообще. Поэтому решение создавать еврейские сельскохозяйственные артели, к тому же в Крыму, в котором евреи жили не менее двух тысячелетий, являлось революционным. В противовес этому Сталин решил заселять евреями жуткие земли Биробиджана (название, произошедшее от комбинации эвенкских наименований двух притоков Амура: Биры и Биджана), в которых евреи никогда не жили, и куда в царское время ссылали особо опасных преступников. В мае 1928 года Президиумом ЦИК СССР было принято постановление о закреплении за КомЗЕТОМ (комитет по землеустройству еврейских трудящихся) этих смертельных мест «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края». «В апреле 1928 года начинают прибывать первые переселенцы, всего в течение года прибыло 856 человек. Однако, в связи с тяжёлыми бытовыми условиями и из-за тяжёлого климата этот процесс протекал неравномерно. В первые годы прибыло сравнительно большое число евреев-поселенцев, однако более половины поселенцев, прибывших в 1928-33 гг., покинули область. Всего за первые шесть лет колонизации прибыло 19 635 евреев, а уехало 11 450, то есть осталось только 8185 человек.» Несмотря на абсурдность колонизации комариной тайги евреями – глядя из этого и предшествующего времени но не после Гитлеровских концлагерей - Сталин упорствовал. В 1931 году статус глухой станции Тихонькой, провозглашенной «Новой Обетованной Землей» (сталинский юмор, который явно недооценен) был повышен до рабочего поселка и она была переименована в Биробиджан. Которому городской статус был присвоен только в 1934 году, а одновременно с этим территория была преобразована в Еврейскую Автономную Область.

По состоянию на 1 января 1932 года население Биробиджана составляло: мужчин — 1216, женщин — 1324<sup>1</sup>. В начале 1930-х гг. около тысячи еврейских иммигрантов прибыло в Биробиджан из-за рубежа: США, Аргентина, Европа, Палестина и другие страны и регионы мира – факт поразительный, говорящий о мощи Сталинской Пропаганды. К началу 1936 года население Биробиджана (евреев и неевреев суммарно), то есть Обетованной Земли, вместо Палестины объявленной Сталиным в комариной тайге, составляло аж 12 тысяч человек. Таким образом Сталин за много лет до дела Врачей, и прежде чем Гитлер, начал решать еврейский вопрос планируя перенесение ашкеназийских евреев (каковыми в большинстве были не только евреи Европы. Но и евреи СССР) на Дальний Восток. Черта оседлости вместо благодатного климата Белоруссии и Украины переносилась в гиблые болота Сибири. То есть более кардинально, чем царское Правительство когда-либо решалось сделать.

В этот момент в соревнование с Сталиным в решении еврейского вопроса вступает Гитлер. Начав с Хрустальной Ночи и антесимитских законов (согласно которым любой на улице, например, мог ударить еврея и не быть за это наказанным) в 1940 году, после оккупации Франции, он, совместно с Гиммлером, Геббельсом и другими «вождями райха», планирует переселение Евреев европы на Мадагаскар. По миллиону европейских евреев в год. Место такое же отдаленное от Европы, как

Биробиджан от Москвы, но с климатом – надо это признать – не непригодным для жизни, а райским! Что было бы еврейством и миром, пересели Гитлер в самом деле евреев Австрии, Германии, Франции, Польши и других стран на Мадагаскар можно только гадать... Захват Мадагаскара Америкой (с целью не допустить создания на нем Японской Военной Базы) в 1942 году положил конец Гитлеровской программе заселения Мадагаскара евреями. Ну а окончательное решение еврейского вопроса с помощью газовых камер, расстрелов подобных произошедшему в Бабьем Яру, погромов подобных Львовскому, сжиганию евреев в хатах, сбрасыванию живыми в шахты и всеми другими способами положило конец идеям решения Еврейского Вопросы переселением Гитлером. Но не Сталиным.

После того, как Гитлер был побежден, Сталин продолжил его дело в еврейском вопросе, но гибко, исходя не из принципов гуманизма, а и интересов выживания СССР. Говоря объективно, в то время, как Гитлер евреев уничтожал, Сталин евреев спас. Но не всех, а только полезных евреев. За три месяца с начала войны до взятия Гитлером Киева Сталин мог запросто организовать эвакуацию из Киева не только полезных для Обороны евреев, а всех евреев, что сделало бы Бабий Яр невозможным. Но это сделано не было. Получение билетов на поезд, идущий на запад без предписания Власти было практически невозможно. Разговоры о гитлеровских погромах включая и Львовский Погром, произошедший сразу после того, как Львов перешел от Сталина к Райху, пресекались как антисоветские и клеветнические, за них наказывали! Таким образом, **Сталин являлся соавтором Гитлера в убийстве в Бабьем Яру как бы на заднем плане. Однако от этого не менее союзническим в антисемитском шабаше. Невидимым и как бы пассивным соавтором убийства двух миллионов советских евреев Гитлером является Сталин. Это не вызывает сомнения. И замалчиваться спустя более полувека, наконец, более не должно.**

Во время войны для того, чтобы заручиться поддержкой и деньгами Американских Евреев, Сталин всячески поддерживал миф о процветании евреев в Советском Союзе. После войны во время создания государства Израиль Сталин и все контролируемые им страны голосовали за создание Еврейского Государства в Палестине. А после начала войны арабских стран после создания Израиля обеспечил через Чехословакию доставку израильтянам вооружений, без которых еврейское государство, скорее всего, погибло бы, едва появившись. Однако, разочаровавшись в Израиле, Сталин начал проводить открыто антисемитскую политику внутри СССР. Начиная с разгнома Антисионистского Комитета, раскрытия псевдонимов еврейских писателей и объявления советских евреев безродными космополитами. Апогеем Сталинского антисемитского шабаша было Дело врачей. Которое должно было завершиться массовой высылкой евреев в непригодные для жизни районы Сибири, включая Еврейскую Автономную Область. Обетованная земля евреев как место высылки для быстрого и мучительного вымирания – коварство, не знающее себе равных. Не в жестокости (тут Гитлера перплюнуть нельзя), а в коварстве с садизмом. Согласно Сталинскому проекту, по дороге в Обетованную Землю на территории СССР в результате организованного «народного гнева» должно было погибнуть не менее половины евреев. Планы, которые можно сравнить только с Гитлеровской программой решения еврейского вопроса. Планы, которые были сорваны внезапной смертью (а может быть, и убийством) Вождя.

Таким образом, если рассматривать в масштабах десятилетий, антисемитская программа Сталина и Гитлера проходила с переменным успехом. План Гитлера переселения евреев Европы на Мадагаскар был несравненно гуманнее, чем Сталинская программа переселения евреев в Еврейскую Автономную Область.

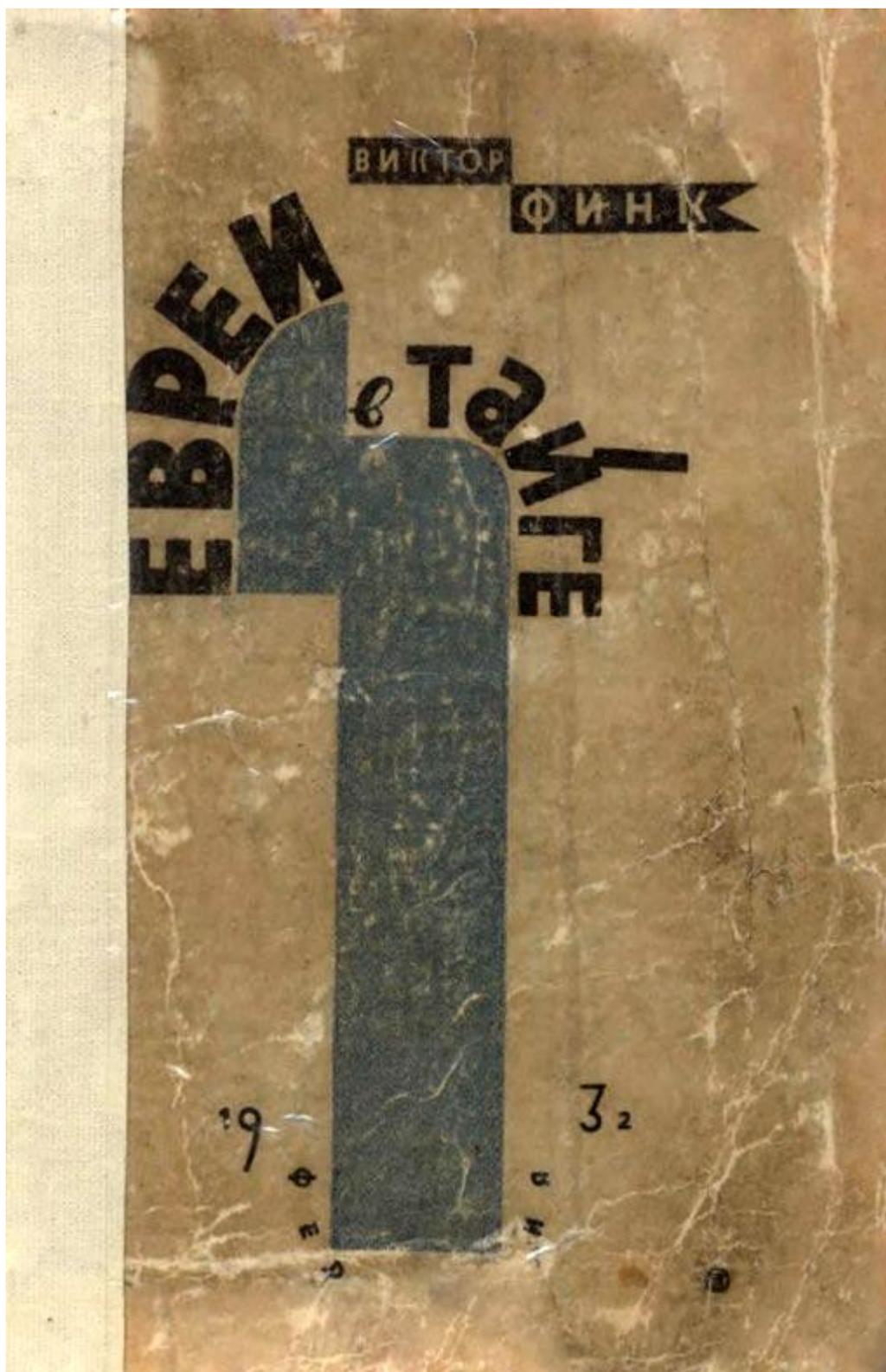
Само собой разумеется, с «окончательным решением еврейского вопроса» по Гитлеру не может сравниться никакая жестокость. Однако планировавшийся Сталиным процесс над еврейскими врачами-убийцами, за которым должно было последовать выселение на дальний Восток с последующим и одновременным умерщвлением миллионов евреев СССР легко мог поставить Вождя Народов в один ряд с Вождем Арийских Народов. И еще неизвестно, кто смотрелся бы более ужасающе. Если бы «бы» стало явью.

Книга Виктора Финка, почти забытая и обнаруженная мною случайно при чтении в русском фонде Публичной Библиотеки во времена Андропова, когда после чтения статей по физике я позволял себе пару часов читать старые книги (при этом ни разу не получив отказа спецхрана, так как мои интересы с представлениями Советской Власти о том, что является антисоветским и чего читать советским людям не следует, не совпадали) является уникальным и блестящим с журналистско-литературной точки зрения свидетельством того, как происходило заселение Биробиджана. После ее чтения на происходившее открываются, если можно так выразиться, другие глаза. Поэтому мы настоятельно советуем прочитать ее всем, интересующимся российской и еврейской историей.

Юрий Магаршак

1 января 2017 год

**Виктор Григорьевич Фиск  
Евреи в тайге**



**Виктор Финк  
ЕВРЕИ В ТАЙГЕ  
(Очерки)**

**Ко второму изданию**

Жизнь опережает писателя. Она опережает и самый процесс книгопечатания.

В настоящей книге собраны очерки, писанные по следам живой жизни в 1929 г. Биробиджан был тогда дик и пустынен. Немногочисленное коренное население, закосневшее в старых хозяйственных формах, оказалось бессильно бороться с природой и неисчислимы богатства края лежали в тайге нетронутыми.

Первые шаги советского колонизатора были трудны, очень трудны. Трудности были созданы природой, человеческой неосмотрительностью и человеческой неопытностью. Они стояли глухой стеной.

Через год, в 1930 г. я снова посетил Биробиджан, имея при этом с собой первое издание настоящей книги. Тогда я увидел, как жизнь изменила смысл значительной части моей работы: мне казалось, что я борюсь пером за лучший Биробиджан, как журналист. А на деле вышло, что мои очерки получили характер исторический.

Жизнь меня обогнала. Тогда я пустился вдогонку. Я стал готовить 2-е издание уже с дополнениями и исправлениями. Но куда я писал, куда книга набиралась, жизнь умчалась вперед еще дальше. В тексте читатель встретит кой-какие цифры, определяющие хозяйственные успехи Биробиджана. Эти цифры приходилось исправлять в корректуре, ибо они выросли со времени их написания. Сегодня они опять отстают от жизни. Можно сказать совершенно уверенно, что основные трудности в Биробиджане превзойдены. Почти сплошная коллективизация всего старожильского и пришлого населения, грандиозное дорожное, хозяйственное и культурное строительство меняют не только лицо края, но и самого человека и человеческие взаимоотношения.

Старая латинская поговорка гласит, что «книги имеют свою судьбу». Из предыдущего видно, как своеобразна бывает иногда судьба книги в наших условиях. Судьба данной книги этим не исчерпывается.

В 1932 г. вопрос о жизнеспособности Биробиджана был решен окончательно. Дикий край с его тайгой и болотами делается Магнитостроем советской национальной политики. В Биробиджан потянулись трудящиеся еврейские бедняки из других стран. Они хотят жить в государстве, где уничтожены социальные предпосылки, создающие обособленное положение еврейства среди других народов. В связи с этим потерпела тяжелый подрыв идея сионизма. Тогда неожиданно всплыли мои очерки о Биробиджанских трудностях написанные в 1929 г. Почти вся мировая буржуазная еврейская пресса взялась за перепечатку отрывков из этой книги, в которых описаны суровость природы Биробиджана, ошибки руководства и мытарства переселенцев. При этом очерки 1929 г. падавались как свежая новость, как последние «разоблачения» советского журналиста.

Это лишний раз подтверждает, насколько возросло за эти последние годы значение Биробиджана: он сделался знаменем, вокруг которого разворачивается и углубляется классовая борьба среди международного еврейства.

## Проводы Митрохи

Пароход остановился у пристани Усть-Биджана, в том месте, где могучий приток врывается в Амур и наполняет его водами из таинственных сопок Хингана.

Пароход спустил сходни, – одни пассажиры сошли, другие садились. На пристани собралась ватага казацких парней. Они провожали Митроху. Митроха, толстощекий великан с чубом, лениво грыз кедровые орешки. У сходен приятели вручили ему мешочек. Он взошел на палубу, стал у перил и продолжал, весело улыбаясь, грызть орешки и сплевывать шелуху. Когда в кармане больше не оказалось, он стал черпать из мешочка. Парни, оставшиеся на пристани, были тоже здоровенные статуи с чубами. Они долго смотрели на Митроху молча, потом кто-то крикнул:

– Прощевай, Митроха! Лихом не поминай!

Митроха, мотая головой, отозвался:

– И вы, черти, прощевайте, косолапый!.. Злом не поминайте, рыжим не ругайте!..

Из-за камышей выбежал, запыхавшись, парень с гармонью. Он ворвался в самую гущу

толпы и грохнул музыку. Это была несложная мелодия: матаники-маеники. Но парень очень уж забористо играл, и несколько человек пустились в пляс. Пока пароход грузили дровами, парни в честь Митрохи выстукивали чечотку босыми ногами, приседали, хлопали себя по коленям, по пяткам и по разинутому рту, но больше всего неугомонно вертелись на одной ноге, притопывая второй ногой. При этом; они гикали, высоко поднимая руки. Кто-то пытался петь. Нескладный, но могучий голос горланил частушки:

Теперь новые права:  
Старых девок на дрова.  
Лет семнадцати – любить,  
Двадцати пяти – рубить.

И снова гикание и свист, и пыль поднималась туманом. Гармонист был неугомоним. Танцоры тоже. Проводы Митрохи были пышны.

– Митроха-а-а! – кричали парни с берега. – Кедрова шишка! Подь, станцуй!..

Но Митрохе нельзя было покинуть палубу. Он сосредоточенно следил за пляской, и колени у него слегка дрожали в такт музыке. Неожиданно он сбросил сапоги. Выпятив грудь и подняв над головой левую руку, он забил босыми пятками дробную чечотку, не переставая при этом резкими и короткими движениями правой руки забрасывать себе в рот орешки. Лицо его хранило напряженное выражение.

– Афонча! – кричал он время от времени кому-то из танцоров. – Афонча! Шибче забирай! Шибче-е-а!

И сам все ускорял и ускорял темп своей чечотки. Он обливался потом и кряхтел. На берегу тоже забирали сосредоточенно и шибко. От пыли почернели вспотевшие лица. Струясь по ним, пот оставлял борозды.

Медленно маневрируя, пыхтя и разбрасывая воду, тронулся пароход. Гудки, дрожа, вырывались из тонкого горла сирены и далеко раскатывались над бесконечной рекой и над пустынными, заросшими тайгой берегами.

– Прощевай, Митроха! – неистово кричали пляшущие парни.

Гармонист с удвоенной энергией ударил по клавишам. Он вскидывал гармонь в воздух, прижимал ее к себе, растягивал сколько можно, он сам изгибался и извивался вслед ее переливчатому пению, и, не в силах удержаться, сам тоже пустился в пляс.

– Прощевайти-и-и! – кричал Митроха. Он махал шапкой, не переставая стучать босыми пятками по палубе.

В бинокль еще долго был виден пляс на опустевшей пристани.

У нас на верхней палубе сидели пассажиры-интеллигенты, – кажется, инспектора Госторга, – один молодой, в пестрой кепке, другой – пожилой, с болезненным, землистым лицом.

– Вот, – сказал один из них, – вот как надо плясать, чтоб было весело: босиком.

Пароход наш был товаро-пассажирский. Он тащил на буксире три баржи разного груза и тяжело поднимался вверх по Амуру. Уже больше двух суток развертывалась величественная река. Выходило солнце и садилось, шел дождь и переставал и начинался снова, а река все не кончалась.

Я прогуливался по палубе, оглядывая ее от носа к корме с левого борта на правый. Митроха уже перестал плясать. Он ел. Он достал из котомки здоровенную краюху хлеба и кусок сала и, неторопливо урча, ел.

А госторговцы беседовали, повидимому, все об усть-биджанских танцорах.

– Просто – эти люди здоровы и примитивны, – с оттенком зависти говорил пожилой с землистым лицом.

– Что ж хорошего в их примитивности? – возразил другой, помоложе.

– В тайге никак нельзя иначе, – вмешался помощник капитана. – Уж тайга, знаете... Или ты с ней сживись, или она тебя обязательно слопаёт.

Я сделал еще один круг по палубе. Тайга мрачно ползла вдоль берегов, как бы сопровождая бег бесконечных вод.

Молодой все еще говорил:

– Однако пляшут они, действительно, здорово!

– И тунгусы пляшут! – возражал его спутник. – Эти же парни, как никак, происходят от культурной расы, а почти одичали. От тунгусов недалеко ушли.

– Да им и так хорошо! – сказал молодой, наводя фотографический аппарат на кумирню, показавшуюся на китайском берегу.

– То-то и плохо! Не должен человек забираться в тайгу, если не может ее одолеть, – заметил пассажир постарше. Он протирал окуляры бинокля и говорил медленно. – В тайге зверь в берлоге живет.

– Положим, и человек тоже сукин сын порядочный бывает, – прибавил помощник капитана.

Скрылась и кумирня. Аппарат и бинокль были упрятаны. Я продолжал прогуливаться. Горы Хингана, как грозная стража, тяжело вросли в оба берега – в советский и маньчжурский.

Я ехал в Биробиджан, в далекий и загадочный край между Амуром, Бирой и Биджаной, – туда, где в тайге расселяются евреи из украинских и белорусских местечек. Как-то они там?

Митроха – здоровый, веселый человек – пляшет, ест сало и урчит. На то он – Митроха, дитя тайги. Он сам – тайга. Но худосочные Менахем-Мендели, искатели «еврейского счастья», изможденные герои еврейских анекдотов, еврейская голытьба, сутулая от нищеты и горя?..

– Кажется, будет непогода, – расслышал я замечание одного из госторговцев. – Надо заходить в каюту.

Амур, действительно, почернел от злобы. Нависли оловянные тучи.

## Таежные люди

### 1. Веселое мясо

#### I

Я застал у знакомого агронома в биробиджанской деревне Н. местного старожила – охотника Богатова Феоктиста Николаевича, сухого, коренастого человека лет пятидесяти.

– Како число сѣдни? – спросил он среди беседы.

Было десятое сентября.

– Значит, скоро первое по-старому, – озабоченно заметил Богатов. – Пора, однако, в тайгу собираться, – скоро зверь реветь будет.

Сентябрь – пора любви изюбря и лося. Самец мечется по тайге между деревьев, разрывает грудью и рогами цепкие лианы, выбегает на болота и на берега речек, неосторожно выносится на поляны и всюду, остановившись на мгновение, ревом зовет самку.

Бывает, что один самец услышит рев другого. Тогда он с яростью бежит на поиски соперника.

Едва встретившись, они сшибутся рогами. Поединок будет кровавый. Он кончится лишь, когда один из соперников упадет со сломанными рогами и с прорванным брюхом.

Самка, слышав призыв самца, давно помчалась навстречу. Она бежала особенно быстро, когда сквозь гул тайги слышала два сливающихся зова. Она стоит тут же, высоко задрав красивую голову. Она смотрит, кто из любовников пожертвует ради нее жизнью, кто ляжет костями у ее ног: от него она с презрением отвернется.

Но когда непринужденной и легкой походкой приближается к ней веселый победитель, она трепещет и дрожит и отдается ему. Она сопротивляется. Она бьет ногами. Она

упорствует. Но все это – жеманство. Победа дается красавцу легко, и он празднует ее тут же. Умирающий неудачник еще, пожалуй, успевает бросить на это зрелище свой последний взгляд.

Охотники, верней, браконьеры, лихорадочно ждут сентября. Они обзаводятся берестяными трубами, издающими звук, похожий на рев самца изюбря. Уже с первого сентября в глухих таежных зарослях слышен обманывающий звук этих труб. Самцы и самки мчатся ему навстречу. Слепые и обезумевшие от ярости и страсти, они вплотную подходят к засаде. Тогда вступают берданы и винчестеры.

Я давно собирался в тайгу на зверовую охоту. – Вот с Богатовым и поезжайте! – сказал мне агроном. – Кстати с публикой местной познакомитесь, – с казаками, раз хотите знать Биробиджан.

Мы выехали втроем на рассвете: Богатов, еще один местный охотник, некто Максимов Григорий Тимофеевич, и я.

Километрах в двух от околицы начинается вековое зыбучее болото. Конь проваливается задними ногами. Он не может их вытащить и проваливается передними. Он падает на бок и подминает под себя и вьюки и седока. Покуда удастся вытащить коня, он настолько обессилел, что садиться на него нельзя, – приходится вести под уздцы, самому проваливаясь поминутно выше колен.

Максимов по-своему подбадривает меня:

– Ничаво!.. Ни робейти!.. Дале хуже будет...

Максимов – высокий и тоже, как Богатов, сухощавый мужик лет пятидесяти. Лицо у него безбородое, красное, нос длинный. Он похож на индейца. Но взгляд, немного рассеянный и вялый, временами придает его мужественному лицу какое-то бабье выражение.

Он был прав, говоря, что дальше хуже.

Дальше топи еще более глубоки и вязки, ходить еще трудней. Это – нетронутые, девственные биробиджанские топи. Ступала ли здесь нога человека? В траве иной раз всадника на коне бывает не видно, так что отбиться от своих здесь самое легкое дело. На каждом шагу растыканы ямы, ухабы и провалы, в которых тоже можно пропасть, не успев пикнуть.

Болота сменяются глухой тайгой без дорог и тропинок. Густые заросли леса стоят стеной, дорогу прокладывать себе трудно – лианы цепляются за ноги, задерживают коня, не пропускают человека. Грандиозные кедры и пихты, дубы и березы тесно жмутся друг к другу. Беспомощно прислонившись к живым, стоят и мертвые гиганты леса – бурелом и сухостой. Толкнуть рукой – и валится огромное дерево. Иных великанов молния расколола в щепки. Она зажгла пожар, и обгорелые стволы лежат, поваленные друг на друга. Как гнилые зубы, торчат недогоревшие пни. Валяются вековые деревья, которые таежная буря вырвала из земли с корнями. А потом снова болота. Конь, осторожно ступая на кочки, обрывает траву, и она скрипит под копытом, как лопающийся лед. Дорог нет, путей нет, тропинок нет. Итти трудно.

Однако лишь к концу дня, когда мы сделали привал, я понял настоящий смысл предсказания Максимова насчет того, что будет хуже.

Воздух стоял душный, сырой и неподвижный, и с ближнего болота налетали тучи страшной таежной мошки. Да будет трижды проклято имя этого маленького хищника! Он страшней непогоды, страшней топи, страшней, чем звери. Миллионы мелких насекомых, величиной с булавочную головку, забиваются в нос, в уши, в глаза. Они замучивают человека и животных. Жалко было глядеть на коней, – они отощали за первый же день. Мириады, неисчислимые множества мошки сплошной пеленой садятся лошадям на морды и пьют кровь. Сотрешь мошку с коня, и вся рука в крови. Мы на ночь стреноживали коней, но бедные животные так страдали, что даже стреноженные уходили, сами не зная куда в глубь тайги. Мы по следам разыскивали их нередко за десять километров от стоянки.

Мы пять дней шли все дальше в глубь таежного мира. Болота сменялись девственной чащей; мы переваливали через горы и переходили вброд реки. Я потерял представление о

времени, о расстоянии, о маршруте. Но непостижимое для меня чутье вело Богатова и Максимова именно туда, куда им было надо. Еле заметная зарубка на дереве, прислоненная к дереву сухая ветка, брошенное горелое бревно, – все служит для них приметой и помогает им безошибочно повторить путь, проделанный в прошлом году или два года назад.

Мне временами кажется, что Феоктист Николаевич заснул в седле. Я заглядываю ему в лицо.

Нет, – глаза глубоко западали, они точно притаились в засаде, прикрывшись зарослями бровей, и настороженно озираются кругом, внимательно рыщут по деревьям, по траве, по болоту.

Время от времени Богатов сошками разгребает траву: ему показалось, что она немного помята, – он хочет знать, кто здесь ходил. Посмотрит и едет дальше, а нам в полуоборот бросает:

– Мигведь ходил...

Или:

– Кабан помял...

Мы сделали привал у горелой поляны.

– Вот она – наша! – воскликнул Максимов. – Прошлым годом сами выжигали.

– Слезай! – скомандовал Богатов у опушки. – Здесь бесприменно зверь будет.

Охотники сами выжигают в тайге поляны: на обнаженном месте лучше растет трава, и сюда придет пастись зверь.

Покуда мы с Максимовым разводили огонь, Богатов затрубил в свою трубу. Он прислонился плечом к дереву и затрубил. Труба издала пронзительный и сильный звук, переходящий в рев.

Через несколько мгновений из глубины тайги, по ту сторону поляны, послышался отклик: там заревел изюбрь. Богатов стал дуть еще сильнее. Ответный звук стал приближаться. Он несся к нам, как ветер. Он пронзительно разрезал тишину тайги и приближался, становясь все сильнее. Это был напряженный и раздражающий крик. Вот уж он где-то совсем близко. Богатов продолжал звать в трубу и уже лихорадочно сжимал в руке берданку. Максимов поспешно отводил предохранитель на винчестере. Я закладывал пулю Жакана в браунинг. Собаки насторожились. Вдруг крик оборвался на какую-то ничтожную долю мгновения и тотчас слился с еще более жадным и более яростным рычанием. Два бешеных голоса сплелись в один клубок, в один сдавленный и мускулистый ком крика. Он катался по земле, ударялся о деревья и снова падал и извивался. Эхо повторяло исступленные звуки. Тайга наполнилась этой таинственной борьбой. Лошади запрядали ушами, собаки стали испуганно жаться к нам, а мы, все трое, замерли в оцепенении и испуге. Борьба длилась недолго. Рев и рычание сразу смолкли, собаки и кони успокоились.

– Не иначе, тигр, однако! – угрюмо проворчал Богатов. – Задрал, сук-кин сын, изюбря. Как одна копейка, задрал!

На следующее утро мы с Богатовым снова вышли на охоту.

Мы пошли на крутую сопку. Мы задыхались, карабкаясь, а я особенно устал от борьбы с лианами.

– Вот ломота докушная! – бормотал Богатов. – Чисто сухая топь!..

Это было меткое определение. Лианы в тайге засасывают, как болото. Они принимают человека в свою гущу, обволакивают его и не выпускают.

– Сухая топь!

Внезапно Богатов замер.

– Во!.. Гляди!.. – едва шевеля губами, шепнул он.

Я долго вглядывался в чашу, но не видел ничего.

– Да вон же!.. Гляди же!.. Позади винограда...

В чаще, в самой густоте, позади багряных листьев дикого винограда, я различил небольшое, но особое пятнышко. Это был лоб изюбря. Зверь открылся нам еле-еле, а расстояние было большое. Мы, к тому же, стояли запутавшись в лианах – подойти ближе нам

было трудно. Богатов выстрелил и промахнулся. Беззвучное движение губ лучше слов показывало его состояние. Однако зверь не двигался с места. Он не сообразил, повидимому, что это за раскаты. Тогда выстрелил я и тоже не попал. Но на сей раз зверь встрепенулся и в ярости понесся сквозь чащу.

Теперь мы видели его лучше: это был красивый рослый самец. Мы, было, погнались за ним, но вскоре убедились, что это бесцельно: зверь не был ранен, а здорового и испуганного – человеку, конечно, не догнать.

Богатов был хмур. Он еще больше нахмурился, когда мы, пройдя несколько шагов, нашли свежий след, очевидно, нами же спугнутого медведя. Миша разорил здесь под дубом зимние запасы, заботливо сложенные бурундуком, а сам скрылся через речку, которую нам было вброд не перейти. Вся сопка была исхожена зверями: тут катались кабаны; гам медведи ходили и оставили следы своих мягких и тяжелых лап, похожие на след босого человека; здесь выщипали траву лоси; еще немного поодаль отпечатались лапки россомахи и грациозные копыта изюбрей. А нам хоть бы что-нибудь повстречалось!

Еды у нас не оставалось уже почти никакой. Таежные ягоды – семя ландыша, кислый дикий виноград, дикое яблоко величиной со смородинку да калина – все начало становиться серьезным подспорьем в нашем хозяйстве, а дичи, как на зло, – ни пуда, ни пера.

Эго кажется странным и мало вероятным, но в тайге можно иной раз хорошенько наголодаться даже с ружьем в руках.

Однажды Богатов сказал:

– Тута сам Арсеньев раз бродил, Владимир Главдеич. Знаете? – путешественник который?! Со экспедицией... И все охотники были... А с голодухи, однако, своих собак поели...

Идет дождь, и зверь прячется; дует ветер, и зверь издали чует человека и собаку и уходит.

Так было и на этот раз: лил дождь, дул ветер, душила мошка. Добычи не было никакой. Все это понемногу портило настроение. Богатов и Максимов все время хмуро молчали. Я пробовал заводить всякие разговоры – ничего не выходило: люди хотели есть, им было не до разговоров;

## II

Однако через несколько дней они разговорились. Вот как это произошло.

Я собирал сухостой для костра на ночь, а Богатов и Максимов закусывали и пили чай перед палаткой. Максимов ел ломтиками сырую капусту, – кажется, уже последнюю головку. Он сидел на земле, подобрав одну разутую ногу, нарезал капусту и соскребывал своим охотничьим ножом мозоли. Богатов сидел: на корточках и хлебал чай. Вдруг они оба застыли. Не произнося ни звука, отложили чашки и капусту и, не отводя глаз от какой-то точки на поляне, тихо поползли назад к балагану за ружьями.

– Козуля! Собирайся!..

В самой фигуре и походке Богатова, когда он уходил, было в этот раз что-то, предвещавшее победу. Он туго затянул пояс и поэтому стал казаться тоньше, а плечи вышли шире, прямей, угловатей, резче. Глаза застыли неподвижно на невидимой козуле, – он не отводил от нее взгляда, точно накиннул аркан и уж не выпустит. Ружье он взял на изготовку по-военному и выступил с левой ноги, немного выдавая вперед плечо. Вскоре он скрылся в пьрье.

Максимов быстро натянул сапоги и побежал в чащу с противоположной стороны. Я зашел с третьей и пошел по опушке. Вскоре послышалось два выстрела. Я узнал глуховатый звук берданки Богатова, побежал на раскаты и услышал совсем близко третий. Шагах в пятидесяти от меня выскочила раненая козуля. Я выстрелил, и она упала замертво. Тотчас показался и Богатов.

– Не ушла-таки! – воскликнул он и побежал к туше.

Он потолкал, перевернул и, убедившись, что козуля убита, быстро выхватил нож и вскрыл ей брюшину. Ударил густой и тошный запах внутренностей. Богатов погрузил в

прорезанное отверстие руку и, провозившись несколько мгновений, что-то вытащил и стал жадно есть.

– Что это вы делаете?! – удивленно воскликнул я.

– А почки! – бросил Богатов, чавкая и хрустя. Потом он пояснил с несвойственной ему словоохотливостью – Почки-то надо сырыми есть, однако! От их человек здоровше бывает.

Он быстро и умело освежевал козулю, разрубил тушу на части и, взвалив на дерево, тщательно перекрыл листьями.

– Это завтра заберем, а пока на ужин и одной ноги хватит.

Он захватил одну переднюю ногу и сердце, а также требухи для собак, и мы пошли.

У нашего балагана, когда я занялся приготовлением мяса, Богатов пошел кормить собак. Обычно молчаливый, а за последние дни и совсем хмурый, он теперь весело возился с псами:

– А-га! Л-л-любишь козыны кишки, с-с-уккин сын! Небось не жрамши и газету читать скушно!.. То-то!..

Когда пришел Максимов, козья нога и сердце были едва-едва прожарены. В воздухе стоял еще кисловатый и неприятный запах, свойственный мясу козули. Но приятели тотчас принялись за еду. Они ели минут двадцать в напряженном молчании, жадно глотая почти сырые куски. Потом стали сыто отрывывать и отваливаться на сидениях. Максимов сказал, покачивая головой:

– Козье мясо, – оно веселое...

Видимо, и впрямь повеселев от еды, он внезапно спросил меня:

– Скажит-ти, – а где оно, тако местечко Калкута?..

Я пояснил.

– В Ындии, говоришь? Ну, а верно, что в газетах пишут, будто там, в месте Калкуте, значит, стычка была с войском?

Я ответил. Прошла минутная пауза, и Максимов: снова заговорил:

– А в Москве, поди, дамочек мно-ого?..

В голосе его была какая-то мечтательность. Он прибавил:

– Поеду в Москву!.. Ей-богу!.. Набью зимой кабанов и медведей и поеду. Вот ей-богу!..

Выберу, котора дамочка покрасивше, да сыграю...

Затем он благодушно обратился к Богатову:

– Отрежь-ка мне, друг Фитис, сердца кусок, поздоровше...

Богатов огрызнулся:

– Сам и режь! Ишь ты, барышненка кака сыскалась! Может, вам и таз подержать, кады блевать схочете, Тимофей Григорьевич?..

– Да ить, видишь, я с человеком разговор веду, – сказал Максимов. Обратясь ко мне, он заметил с оттенком какой-то задумчивости – Ривольцинеры еще семьдесят годов назад хотели так на так сделать. Да, знать, время не вышло А? Верно я говорю?

– Верно! – подтвердил я.

– То-то.

После этого замечания он оставил политику. Прожевывая кусок сердца, он предался воспоминаниям молодости.

Он рассказал, захлебываясь от веселья, как в Пашкове, в молодых казаках, лет около тридцати тому назад, к Петьке Слепцову, к булочнику, привели бабу. Булочник как раз тогда разводил квашню.

– Ну, начала это галерка бабу рвать каждый к себе, каждый к себе! А баба была выпивши! Да как ни заблю-е-еть!.. Вот Христом клянусь, прямо в бадью, в квашню самую... Ой, и смеялась же галерка!.. Ну-ну!..

Богатов встретил рассказ глуховатым, кулдыкающим смехом. Он сидел, поджав ноги по-турецки, ел, кулдыкал и слегка трясся. Он внимательно смотрел прямо в рот Максиму, желая, видимо, поживей представить себе сцену в булочной.

– Д-да! – время от времени выжимал он из себя, покачивая головой.

Мясо продолжало веселить Максимова. Вскоре последовало еще одно сообщение.

Любовное действие опять носило в нем массовый характер.

Дело было в Гродекове, на Уссури.

– Спешила галерка наша бабу одну – на Уссуре белье мыла, – начал Максимов.

– Прачка, значит! – заключил Богатов.

– У-гу, прачка! Ну, значит, рот ей зажали да на конюшню. А тут, почитай, вся сотня сбеглась.

– Ну, и что было?

– А что было? – медленно, икая, переспросил Максимов. – А позвали чесь-чесью фершала, чтоб, значит, обсмотрел бы ее, – а то, неровен час, и на больную наскочишь. Ну, обсмотрел фершал. «Ничаго, – говорит, – ребята, не робей! Здоровая!» А Мы и сами видели, что здоровая. Ну, и прошла там вся-а галера, сколько было, душ восемьдесят. Почитай, ни один не пропустил.

– Ну? – блестя глазами, воскликнул Богатов.

– Христом клянусь, – сказал Максимов и осенил себя крестным знаменем, не выпуская, впрочем, ножа из руки.

– Да!.. – качая головой, продолжал он. – А она, сука, прямо без памяти. Уж ей все одно было. Лабунцов Митька, уходя, ногой ее в бок ка-ак ни пхнул!.. А она все без памяти... Так-то по началу кряхтела: господи, мол, Сусе! Господи, Сусе!

– Ишь, шлюха! – перебил Богатов. – Тоже! Господи Сусе!

– Однако, – продолжал Максимов, – как прошло душ десять, она, стерва, и про господи Сусе забыла. Совсем из памяти баба выбилась да и смолкла. А Митька-то Лабунцов под конец дела ее за ноги да из конюшни вон...

– Ну, и как? – спросил я. – Сошло вам? Ничего не было?

– Ничего! – с довольной улыбкой ответил Максимов. – Правильно фершал сказал – здоровая она была.

– Ну, а наказания какого или что?

– Какого же наказания? Ведь по гривеннику в шапку кидали. Деньги-то ей потом за пазуху сунули.

– И не жаловалась она?

– На казаков-то? – недоуменно переспросил Максимов.

– Ну да, на казаков!

Он только мотнул головой и сказал со снисходительной усмешкой:

– Плакался Адам, перед раем стоя.

Потом он добавил:

– Замок в воду, ключ в небо...

С этими словами он уже деловито налаживался спать: он все ворочал и примащивал седло. Богатов давно приспособил и свою постель. Скоро они храпели оба. А поздно ночью, когда уже спал и я, нас разбудило какое-то необычайно сильное хрюканье. Вероятно, дикий кабан подходил к балагану, да, неожиданно увидев огонь и почуяв собак, испугался и с шумом бросился назад. Проснулись и Богатов с Максимовым. Они поправили огонь и стали беседовать. Сквозь дремоту я не уловил начала их беседы. Кажется, она с кабана и началась. Едва ли не Богатов вспомнил, как при отступлении из Мукдена в 1904 году их сотня гнала впереди себя целое стадо кабанов.

О Мукдене было и у Максимова что вспомнить. Начал он однако издалека:

– Я таку тебе вещь скажу, что есть у человека одна дума на уме и завсегда он ту думу доржит, едой не заедат, питьем не запиват. А дума та про бабу. Ревет человек – бабу ему подай, все одно как тому изюбрю.

– Эго ты про что?

– А про то, как в японску войну, самое в отступление... Войска бегит, – пеший, конный, артиллерия тута, – ну, вся галерка перепуталась. Лечу это я на коню, конь у меня до-обрый был... Лечу, прямо семь ветров, семь христовых угодников. Ну, лечу, вижу –

фанзочка. Давай, думаю, укроюсь... Вбегаю, а там Митька Подойницын...

Максимов говорил увлеченно, быстро, но Богатов осек его на всем скаку:

– Который Подойницын? Из Венцелова?

– Не! Из Лазаревой, – пояснил Максимов, – который Митрохи Хромого зять...

– А-га! Ну...

– Ну, значит, вхожу я в фанзочку, а Митька Подойницын китайку приспособил... Тута снаряды рвутся, кони скачут, полкова кухня вся побегла уже – одним словом, полная отступления, как страшный суд. А он, однако, прямо на нары китайку кинул да кобелирует...

На Богатова рассказ не произвел почти никакого впечатления. Он только сказал очень деловито:

– Который из Лазаревой Подойницын – тот да... Тот, пожалуй, могит... А ежели б венцеловский Подойницын, так...

– Ну, так венцеловский, он же ж дохлый!.. Его, кажись, ишшо с диствительной увольнили, – заметил и Максимов.

– То-то!.. Я и подумал...

Найдя под ногами обглоданную козью лопатку, Богатов, от нечего делать, предложил:

– Давай, погадаем!

Есть примета: по тому, как огонь прожжет лопатку и в скольких местах, охотники решают, будет им удача или не будет.

Оба внимательно следили за работой огня. Подкинули в костер свежего валежнику, пламя пылало и гудело. Козья лопатка уже была совсем почти обуглена. Богатов вытащил ее из огня и сказал:

– На китайску секиру похожа, которой хунхузам головы секают. Видал ты, как хунхузам головы секают? – спросил он Максимова.

– Не, – равнодушно ответил тот и стал рыться у себя под седлом, куда успел запихнуть мозговую косточку.

– А я видал... – сказал Богатов. – Опосля китайского походу. Мы тогда в Мяолене стояли. Ну, значит, объявление было, что, мол, так и так, хунхузам казнь будет. Головы, мол, секать им будут. Народу сбеглось – больше некуда. На крышах, на деревьях, – где хошь, там народ. Ажно гул стоит! Баб, почитай, более всего сбеглось... Ну, значит, и наша галерка тута. Смотрим – помост, и самый главный ходит, который именно секать головы-то будет. По семь гривен, однако, с головы получают. Ходит важный такой да все секирой помахиват... Да ты не так костку клади! – внезапно перебил рассказчик сам себя: Максимов неудачно ткнул свою мозговую кость в самое пламя. – Рази ж так костку прогревают?

Он поправил огонь, подождал, покуда кость хорошо прогрелась, и ловким ударом ножа выбил из нее мозг – половину Максимова на ладонь, половину себе, слизнул и продолжал:

– Ну, значит, ходит это самый главный да секирой помахиват. А опосля привезли и самых-то хунхузов. Девять штук...

– Правда, будто в колодках они? – спросил Максимов, впрочем, довольно равнодушно.

– А как же? Небеспрременно в колодках да в ярах! – ответил Богатов и продолжал – Ну, а там дело недолгое. Сами чисто как телята: стают на колена, голову подгибают, а потом этот самый, который с секирой, значит, ка-ак ни секанет, та-ак башка долой. И кровь фонталом – жмык, прямо на сажень блюеть! Ну, тута народ кричи-и-т, бабы реву-у-ут. А он, знай, свое: рубанет – и башка долой. Размахнется, гаркнет: х-хэ! – и рубанет. У самого руки-то в крове, морда вся в крове... Д-да...

Богатов перервал сбой рассказ и затем добавил:

– Только не достоял я до конца. Самое это на плацу было, в аккурат возле нашей казармы. Вот тебе казарма, а вот и вся катавасия эта. Так семь голов мы просмотрели, а потом...

Богатов стал обстоятельно сморкаться. Он делал это долго и, повидимому, потерял интерес к своему рассказу. Он закончил его совсем вяло:

– Как раз на кашу протрубили, – сказал он, окончательно утирая нос рукавом, – ну, мы

и ушли...

Воцарилось пустое и равнодушное молчание. В костре потрескивал валежник. Пламя плясало в темноте.

## 2. Ороч жалел! Ох и жалел!

Я сидел в Х. на пристани на Амуре в ожидании парохода. Был вечер – темный и ветряный. Я был утомлен долгой ходьбой; тяжелый рюкзак, ягдташ и ружье обрывали мне плечи. Я прислонился к стенке.

Рядом со мной сидел какой-то человек в потертой кожаной куртке. Он внимательно разглядывал мое ружье и сказал:

– Смотрю я на ваше ружельцо и думаю... Господи, боже ж мой! Да из такого ружья... – Он запнулся, не находя нужного слова. – Да из такого ружья... Эх-х! Прямо родителям радость...

У меня было автоматическое пятизарядное ружье Браунинга.

– Эх-х!.. Жаль, калибер не тот!.. Велик калибер больно, а то откупил бы я у вас ружельцо!.. Ведь пять ударов клади один за другим, прямо как земной поклон...

– А вы охотник? – спросил я.

– Таежный я охотник, – представился незнакомец. – Я уж годов десять в тайге живу, не вылезая...

Ветер раскачивал подвесную лампу. Когда свет падал на незнакомца, я видел лицо, изрытое оспой и заросшее грубой, мутно-серой шерстью. Какую-то ласковую приятность ему придавали живые и веселые глаза. Они выглядывали из узких щелок, как лукавые зверки.

– Я раньше на острове святого Николая охотился, потом на Де-Кастри. А сейчас на запад подался, на Биджану... Пойдемте, я вас квасом угощу, – неожиданно предложил он мне, а сам обратился к буфетчику:

– Портвейну, братишечка, не найдется? Получше который, подороже? А?

Таежник был необычайно словоохотлив. Мне даже показалось, что он чуть-чуть не совсем трезв. Поговорив с минуту со мной, он побежал к ларьку. Я слышал, как он спрашивал:

– Почем грибы сушеные? Восемь рублей за килу? Мне три килы отвесь. А колбасы нет ли рублей на пять фунт? Нету? Плохо. Давай, котора есть, подороже.

Однако он не был пьян. Это просто был таежник, вырвавшийся в город. Он утратил равновесие, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Вернувшись на место, он обратился ко мне:

– Собаку ищу купить хорошую... У вас не найдется собаки продать?

Нет, я не имел собак для продажи.

– Говорят, там за Биджаной кунгусские собаки есть, – сказал таежник, – я туда и еду теперь...

Потом он вспомнил с оттенком грусти:

– Была у меня собака... Кабана ставила, медведя ставила... Да подметом отравилась... Корейцы на енота стрихнин подкинули, а она снайшла, поела с голодухи, да и отравилась... А собака же была!

Он вздохнул и мечтательно прибавил:

– Снайшел бы я такую собаку – эх, и кормил бы!.. Ошейник ей справил бы с набором!.. Так нет у вас собаки? Я за деньгами не постою!.. Зачем мне деньги? А то хотите, приезжайте ко мне в тайгу, я вас медвежьим мясом кормить буду... У меня пудов сто сейчас медвежины лежит... Хотите?

Он снова занялся моим ружьем:

– Эх!.. Кабы калибер не двенадцатый!.. Я из двенадцатого бахну, так белку однако в решето продырявлю. А мне, само главное, надо шкурку сохранить. Мне мелкий калибер надо, а опять же мелкого калиберу все односволки... Плохо нам с оружьей...

Я уже давно знаю, что пушное дело в Союзе сильно страдает из-за отсутствия подходящего оружия. Зато выработался в тайге тип изумительного стрелка. Туземцы Сибири и Дальнего Востока стреляют еще нередко из шомпольных ружей времен Очаковской войны. Порох засыпается через ствол, кусок пакли служит пыжом, кусок кабеля, откусанный на глаз плоскозубцами, служит пулей, и из этого инструмента туземец попадает белке в глаз.

Я знаю здесь и русского одного охотника, бездельного человека Антипку. Ружье у него, по прозванию «громбон» – старый разбитый дробовик с затвором Бердана. У хорошей хозяйки кочерга – и та складнее Антипкиной рухляди. Но когда неожиданно взлетает тетерев, Антипка, не спеша, спрашивает:

– Головку?

Если сказать ему «головку», он вскидывает свой «громбон» и в лет отстреливает птице голову.

Я слышал от кого-то, что хорошо на Дальнем Востоке стреляют гольды, и спросил таежника, верно ли это. К моему удивлению, он принял вопрос почти как обиду.

– Гольды? – воскликнул он. – Да вы что – смеетесь с меня, товарищ дорогой? Какой же ж гольд охотник? Орочи – вот охотники, так да... Это вы за ороча слышали, что охотник, а за гольда вам никто не мог сказать, что охотник...

Таежник даже как-то досадливо посмеялся: не громко, но и не желая скрыть, что мои слова только смешат его.

– Ороч – вот кто большой человек!.. Кто до него равняться может? Вот, к примеру, взять за прошлый год: я доставил в кооперацию белки семьсот штук... Кунгус – тысячу доставляет. А орочи по две, а то – верьте совести! – по три тысячи штук белковья приносили, черти...

Он многозначительно покачал головой:

– Ба-альшой человек ороч... Он только того сам не хочет, что он от господ бога может...

Он помолчал, а потом, видимо расстроенный мыслями об орочах, воскликнул:

– Да что мы против орочей, господи?! Да ничего!.. Ороч может зверя бить, как хочет...

Он не знал, как бы получше объяснить мне свою мысль.

– Ну, я в Москву приеду читать, дупустим, доклад... Ну, дупустим... Так то ж не доклад будет, а чистая география... У людей только будут уши вянуть. А почему? А потому, что в Москве есть и без меня образованные люди, способные до докладов, а я – таежная коряга... Так само и ороч... Ему такие глаза даны, он тайгу на тысячу верст знает. Ты вот глянешь – тебе все тайга. Ты книгу читать умеешь, ты буквы знаешь, а он кажно дерево, как букву, знает...

Мне было приятно слушать таежника. Мне, охотнику, было приятно за охотничье достоинство: я не встречал людей других профессий, которые с таким наивным восторгом говорили бы о достоинствах своих конкурентов.

– А вы бы поглядели на него, – продолжал таежник, – так и смотреть не на кого! Как пьяный напьется – лежит, в песок мордой закопается и поет... А что поет? Ничего не поет... Так, по-ихнему лопочет, и боле ничего. Да вот, глядите на него...

На пристань входил маленький, худенький человечек – со спины он был похож на мальчика лет четырнадцати-пятнадцати, и, лишь когда повернулся лицом, я увидел, что это уже, повидимому, человек пожилой. Носил он мягкую шляпу и пиджак, а на ногах поверх брюк – рамузы – две отдельно надевающиеся штанины из лосевой или изюбриной кожи. Его длинные, до плеч, волосы были расчесаны в две косы и перевязаны красной материей. На маленьком, сухоньком монгольском личике с туго натянутой кожей застыло такое выражение, какое бывает у человека, глотающего что-нибудь очень кислое.

– Вот он... На-тебе!.. Гляди!.. И глядеть не стоит, а сказано ороч – значит, против него нету силы, первый охотник, и боле ничего, – полушопотом сказал таежник.

В его голосе слышались и полуснисходительность и преклонение. Свет упал ему на лицо. Я увидел, как улыбка бродила по нему. Но оно было такое неудобное – улыбка не

знала, где остановиться.

С нами рядом сидел на пристани пожилой казак. Я немного знал его. Это был Лазарев Николай Тимофеич, почтенный местный охотник. Он скромно молчал во время всей нашей беседы с таежником. С туземцем же они обменялись поклонами.

Когда ороч отошел немного поодаль, Лазарев сказал:

– И верно, что он стрелок хороший. Я его давно знаю – он приходил на Таймень охотничать, и мы так само тоже там стреляли... У-ух, стрелки они были – он и сын! Бывало сойдемся, так они русских на спор вызывают – кто лучше стреляет. Ну, это конечно, нам до них не равняться...

Лазарев сделал паузу, закурил и потом продолжал:

– Они, бывало, с сорока саженой стреляли в яйцо на голове.

Я не понял.

– А очень просто! – пояснил Лазарев. – Скажем, поставит отец сына к дереву или сын отца – это им все равно, на голову яйцо покладет, сам отойдет саженой на сорок и с винтовки – торк! – и нет яйца.

Лазарев добавил:

– Только, конечно, это всегда на спор. Бутылку ханшины на забой ставили... Если попадет – мы бутылку ставим; не попадет – они нам бутылку повинны...

– Ну и что? – спросил я.

– А ничего. Всегда ихняя брала. Уж стрелит, так держись.

С Амура дул гулкий ветер, с маньчжурской стороны.

Висячий фонарь на пристани резко раскачивался, и временами его свет падал прямо нам в глаза.

Лазарев помолчал, потом вспомнил:

– А только, все-таки, наши один раз их обхитрили, – чуть-чуть улыбаясь, сказал он.

– Обхитрили? Как это?

Лазарев оживился.

– А так... Предложил им наш один: «На, мол! Ставлю в забой бутылку, и ты бутылку ставь, только...»

Таежник перебил:

– Должно потребовал, чтобы из другого ружья стрелял?

– Не, – сказал Лазарев. – И ружье ему оставили и дистанцию не меняли, ничего ему не сделали. «Только, – говорит, – ты мне раньше одну чурочку дров расколи, а опосля стреляй».

Я еще не понял, в чем тут дело, но таежник смекнул. Он подскочил даже.

– Ох-х-хо-хо! – крутя головой, сказал он.

А Лазарев продолжал:

– Ну, они согласились, орочи эти. Отец сына поставил, яйцо поклал, чурку эт-то расколел... Тут ему наши и суют ружье поскорей: мол, на, – сейчас и стреляй. Ну, а у него от топора-то, однако, в руках дрожба осталась, как бы сказать, дрожение. Стрелил, да прямо сыну ка-ак ни в лоб... Обмахнулся, значит!

– Жалел он потом, – добавил Лазарев после паузы. – Ох, и жалел..

Таежник совсем невнимательно дослушал рассказ. Я видел – у него в глазах забегали огоньки.

– Пойду спрошу у его, у ороча, не снайдется ли у его собаки продать, – сказал он, вставая. – А то у их тут подходящие собаки бывают.

### 3. Дело с китайцем

Был хмурый и дождливый день, когда мы подъезжали к селу Русская Самарка. Донимала мошка, дорогу размыло, ехать было трудно. Мы спустились с некрутого косогора и остановились у края широкой воды. Это была разлившаяся речка Самарка. Она не очень широка сама по себе, но разлилась из-за дождей и затопила низменный берег на добрых

полтора километра. Из воды то тут, то там торчала зелень. Это были верхушки затопленных деревьев. Итти вброд было невозможно. Предстояла переправа в лодке. На берегу и стояла утлая лодочка, но в нее уже садились какие-то люди, – видно, здешние жители. Один из наших ямщиков сел с ними, чтобы привести лодку обратно. Ожидая его, мы пробовали укрыться от дождя в орешнике, но там сильно роилась мошка. Мы тогда вышли на дорогу и стали.

С косогора спускалась фигура в брезентовом плаще и поднятом капюшоне. Скоро стало видно лицо.

– Китай, – сказал один казак из ямщиков экспедиции, с которой я здесь путешествовал.

Действительно, человек в плаще оказался китайцем.

– Не иначе, с плантаций, – заметил другой. – С рису...

Китаец приближался. Третий казак воскликнул, обращаясь к нему:

– Ходя! Ты, может в лодке переправляться думаешь? Так я тебя в лодку не пушу, в растуды твои печонки!.. Так, ходя, и знай!

Это сказал Егорша, добродушный и веселый парень с чубом. Он вразвалку подошел к китайцу и, скрывая улыбку, закричал:

– Ты куда, косая сволочь, прешь? Не пушу в лодку...

Китаец сказал робко:

– Моя иди Самалка, капилатива...

– На кой тебе ляд капилатива? – все допытывался Егорша.

– Моя скажи капилатива, надо плантация капуста посылай, – отвечал китаец. – Моя мало-мало махолка купи.

– Махорки хочишь? – рычал Егорша. – Ды-к ты ж чаво, мутный глаз, не скажешь? На, кури...

Рычание Егорши было притворным. Он вытащил из кармана ситцевый мешочек с махоркой, бумажку и спички и добродушно подал китайцу. Подошли и остальные парни. Они стали оглядывать китайца, куда тот скручивал себе цыгарку. Один держал в руках кнут. Весело улыбаясь, он стал им хлопать китайца по фалдам плаща. Китаюцу хоть и не было больно, но было явно неприятно. Однако в это время кто-то другой спросил его, какое он получает жалование. Китаец ответил на вопрос. Это дало ему возможность сделать вид, что он не обращает внимания на то, как его хлопают кнутом. Он только переминался с ноги на ногу.

Кзаки стали говорить, что жалование его небольшое.

– Ведь ты то подумай, – говорил один из них, казак постарше, Степан Сапожников, – каку он работу делает!.. А ни в жизнь тебе русский таку работу не поделает, как китаёзы.

Он обратился к китайцу:

– Ты что, ходя, – землекоп?

– Зимеликоба, – подтвердил китаец.

– Ну, то-то! Могим рази мы против китайца равняться, особливо который, к примеру, кореец? Ить он таку работу кладет...

Действительно, китайцы – прекрасные землекопы, а корейцы еще лучшие. Кзаки говорили о тяжелом труде и замечательном трудолюбии китайцев. Китаец курил и от жадности моргал глазами. Тяжело висело оловянное небо. Шел дождь, и было скучно. Ямщик Афонча, который не имел пальто и промок насквозь, от скуки стал щекотать китайца. Он забегал то справа, то слева и хватал его подмышки, сам громко смеясь. Егорша, зайдя сзади, внезапно подобрал на китайце фалды плаща, и тогда Афонча и другие парни стали бесстыдно хватать китайца внизу живота. Китаец отбивался и что-то кричал по-своему. Вмешались мы, и парни оставили его а покое.

Дождь продолжал итти. Лодки все не было. Косматый парень в курчавой бороденке, по имени Алексей, но по прозвищу Мишка-Муха, снял с себя узенький ремешок поясок. Он подошел к китайцу сзади и, моргнув парням, чтоб молчали, накинул ему ремешок на шею. Затем он быстро пропустил конец ремешка через пряжку и затянул петлю. Пряжечка

засвистела, и все засмеялись.

– Ходя! – закричал Алексей. – Хотишь? Я тебя удавлю!..

Степан Сапожников тоже смеялся. Однако наш завхоз прикрикнул на парней. Тогда и Сапожников сказал:

– Муха, брось, не балуй! Дай покурить человеку.

У китайца лицо было попрежнему невозмутимое.

Он боялся обнаружить испуг, чтоб не распалить аппетиты парней. Мы запротестовали. Муха отошел, но через минуту, когда мы отвернулись, он снова накинул китайцу петлю на шею и стал затягивать, попрежнему смеясь. Когда ремешок сжал китайцу горло, он сказал:

– Пилистань!

При этом он схватил Муху за руку, и тот вздрогнул. Видимо, сила китайца соответствовала его невозмутимому самообладанию. Шутки прекратились.

– Не балуй, черти! Людей бы постыдились! – прикрикнул Степан Сапожников.

Тем временем подошла и лодочка. Она забрала нескольких из нас. Я выехал с квартирными. Мы нашли избу в Русской Самарке, заказали чай, еду. Потом я выходил на берег встречать казаков с имуществом. Страшно было смотреть, как они переправлялись. Мишка-Муха умудрился поставить целую телегу на узенькую лодочку. Казалось, поворота головы достаточно, чтобы нарушить это непостижимой равновесие и опрокинуть все в воду. А Муха стоял на корме во весь рост и, правя багром, лавировал между волнами и между деревьями, торчавшими из воды.

– Сказано, Муха! – замегил Сапожников. – Значит, Муха и есть. Горячий человек!..

Переправа продолжалась долго. Уже давно слетели сумерки, когда работа была окончена. Казаки ввалились к нам в избу. Муха весело прогремел, топая каблуками об пол:

– Ну, таперя мне кондяку надо! А то простыну я без кондяку, тады меня хочь в Нагибово к вельтирнару отправляйте!..

Завхоз пошел рыться в сумах, чтоб достать для парней бутылку, и вспомнил:

– Ну, а куда китайца девали?

Все смеясь бросились рассказывать наперерыв. Начал Егорша. Он сказал, зябко потирая руки и тоже смеясь:

– А взяли мы его перевозить. Не в лодке, а на коню. Пушай, мол, на коню едет! Я говорю: садись, – говорю, – ходя. Там, – говорю, – не глыбоко.

Степан Сапожников, доставая кисет, шитый из изюбриной лапы, перебил:

– А я говорил – не бери! Пушай на берегу пропадат. А то повезешь, а он в воду упадет. Ить тут, на Самарке на самой, страсть, как глыбоко, и очинно крутит волна.

Степан облизнул краешек цыгарки и, сплюнув, продолжал:

– Тут в воду оброниться самое малое дело. А пойдет он под воду, за коня ухопится, да и коня загубить могит...

Муха воскликнул:

– Оно само! Посадил я его на коня, а тут, однако, на речке, как конь поплыл, так ходя-то с коня и сковырнулся. Сковырнулся да стал топти... Извесно, – в сапогах да в балахоне... Ну, стал топти и, такой сукин сын, коня за хвост тянет.

Муха взял кисет из рук Степана и продолжал:

– Тута я его, как полагаецы, по морде! Не трошь, мол, ходя, коня! Не смей, зараза!.. Своей силой, мол, пропадай, своей и спасайся... Ух, смехота!..

– Ну, и что? – спросил я. – Спасся он?

– А хто его знат?! – весело скаля зубы, ответил Муха. – Я не видел. Уж темнеть стало...

Он потопал об пол промокшими сапогами и заторопил завхоза:

– Ну, давайте, давайте кондяку нам поскорейша, а то совсем зазябли!..

## Сторона таежная

Не там тайга, где звери дикие,  
а там, где люди темные.  
Дед Микола.

## 1. Солидный Амур

Амур катит свои волны плавно, – именно так, как подобает большой и солидной реке. Летом он становится значительно шире – дожди заливают береговые низменности. Тогда путешественник может воображать себя катающимся не по реке, а по озеру. Но это – не обыкновенное озеро! Вот торчат из воды верхушки телеграфных столбов, а то вот лодочка прибилась к густой зеленой шерстке. Водоросли? Осока? Нет, – это еле торчат из воды вершинки затопленной рощицы. Она неосторожно раскинулась тут, верстах в пяти от берега, и чувствовала себя в безопасности, да вот дал бог летний дождик, и ее затопило по самую маковку.

Но это, в сущности, не так уж страшно, – всего затопить не могут и самые усердные дожди: Хинганский хребет, например, спокойно переходит с одного берега на другой. Его зеленые сопки беззаботно смотрят на разгул водной стихии и только улыбаются. Улыбается также и солнце в небесах. Со свойственным ему одному умением оно придает непостижимую радость и ликование картине, которая, откровенно говоря, не очень радостна сама по себе. Едва оно покажется из-за облачка, и уже в другом свете видишь и тупое спокойствие реки, и ужас ее разлива, и строгость горных ущелий. Когда проносится по воде скарб, смытый наводнением у недогадливого хозяина, ничего другого сказать не можешь, как:

– Эх, ты, скарб!..

И плывешь себе дальше. А там дальше, сколько ни плыви, – широкая вода, зелена, рощи, луга, сенокосы, опять рощи да величественный, заросший тайгой Хинган. Он то отступает от воды, то выбежит на самый берег и стоит, высоко задрав косматую голову, как горный козел. Ни с чем не считаясь, он переходит с одного берега на другой, где ему вздумается. Конца ему не видно и края.

Сколько ни плыви, ни смотри, а конец и край теряются где-то там, в недостижимой и ослепительной голубизне.

На точном основании Айгуньского договора 1858 года, воды Амура омывают русский и китайский берега и делают это одинаково добросовестно и деловито по отношению к обеим сторонам. И вышинки, и низменности, и затопленные пади, и выскочившие из воды рёлки, рощи и луга, а также сопки разделены без обиды между обоими берегами, и жирные гуси стаями мечутся в поисках охотников с одного берега на другой.

Все здесь обильно и щедро, что создала природа. Но все скупо, убого и уныло, что создано так называемым венцом ее творения: унылые, одинокие деревушки на русском и на китайском берегах, – две-три избушки здесь, две-три фанзы там; одинокая кумирня, посеревшая деревянная часовенка; голоштаные детишки с косыми бровями, такие же дети с прямым разрезом глаз; тощие бабы, ругающиеся по-русски, худосочные китайки, что-то кричащие по-китайски; бородатые дяди в посконных портах, китайцы в дешевых халатах из дабы.

И от поселка до поселка десятки километров живописной, волшебной, дышащей изобилием пустыни.

Почему не заселены эти цветущие берега? Почему нет здесь шумных городов, фабрик, заводов? Почему природа оставлена здесь во всей своей первобытной нетронутости? Почему первобытны и люди, которые здесь живут? Когда и как они сюда попали?

## 2. Дед Онисим

В деревушке Забелино на Амуре, где я застрял на несколько дней, я часто приходил на берег. Удочка, ведерко и коробочка с червями придавали мне вид рыболова; признаться, я именно за рыбой и приходил. Но всякий раз, едва расположившись на берегу и осмотревшись кругом, я уже и сам сознавал, что рыба будет в полной безопасности: так все красиво на реке, так волшебно величие зеленых вод, так густы зелени, так насыщен воздух солнцем, покоем и счастьем, что я неизменно всякий раз заваливался на траву и принимался вычислять, насколько здешний небосвод просторнее моей московской квартиры. Так я за этой математикой и засыпал с удилицем в руке.

Однажды меня разбудили чьи-то шаги и осторожный кашель. Открыв глаза, я увидел в нескольких шагах от себя высокого, чуть-чуть сутулого старика. Он был одет в пожелтевшее полупальто и в широкие полотняные шаровары в заплатах, а на ногах у него были старые рваные опорки.

– Прошу прощения, – сказал он, опускаясь на траву. – Разбудил я вас... А как рыбка-то?.. Клюет?.. Или вы спать изволили?

Старик говорил бойко и легко, не по-стариковски, и глаза у него были живые. Лишь прозрачная желтизна кожи, туго натянутой на лбу, выдавала преклонный, повидимому, возраст.

Никаких рыболовных принадлежностей у него не было. Он и не пришел рыбачить, – он пришел побеседовать.

– Онисим я, – представился старик. – Может, слышали? Меня китайцы зовут Ниса, а хрещеное мое имя – дед Онисим... Я сегодня только вернулся из Благословенного. Я там у корейцев колонка скорнячил. А сегодня вернулся да узнал, что вот анжинер приехал, и очень хочется поговорить.

В деревне меня звали инженером, – без всяких, впрочем, оснований. Вероятно потому, что приезжавший сюда в последний раз, лет пятнадцать тому назад, городской человек был инженер. Репутация эта создала мне много знакомых среди сельского населения. Все приходили люди спрашивать, что я полагаю строить, не нашел ли я золотой жилы, не намерен ли рубить дорогу сквозь тайгу и т. д.

Я старался убедить, что я не инженер, а газетчик, корреспондент. Но от этого спокойней не делалось: ко всем обычным беседам прибавились вопросы мировой политики: спрашивали, будет ли война или не будет, действительно ли у Чемберлена твердый лоб и почему?

В этих беседах я часто слышал имя деда Онисима. Говорили, что он грамотей и знаток всевозможных мелких и крупных вопросов мировой жизни.

– Вот кто бы с вами побеседовал! Стародавних лет человек, – говорили про него, – и все с книгой ходит... У самого уж внуки в анжинеры вышли да в фершала, на больших жалованиях служат, а он все книгу свою читает... Чисто политик какой... Студент... Мы его так студентом и кличем.

Старик был в эти дни в отсутствии, и лично видеть его мне не доводилось. Я был рад, что он пришел посидеть со мной на берегу.

Однако, усевшись поудобнее, дед взял сразу нестерпимо высокую ноту: он неожиданно вытащил из-за пазухи пухлый том «Политической экономии» проф. Железнова в голубом переплете и, раскрыв его на главе о земельной ренте, попробовал вовлечь меня в беседу о теории Рикардо.

– Вот, – не торопясь, начал он, – как известно, иностранец Рикардо возводит...

Старик расположился блистать образованностью. Мне было очень трудно: теория Рикардо была бубном шамана. Но все же «Политическая экономия» была, наконец, захлопнута, и за махоркой, которая во все времена обладала свойством сблизить людей, старик просто и не мудря рассказал мне много интересных вещей из истории заселения русского амурского побережья.

– Все мы, амурские казаки, – сказал он, – из забайкальских сюда казаков пригнаны в

1858 году. Даже песня у нас есть про то. Хотите, спою? – просто предложил дед.

Я попросил, и старик затянул протяжным и фальшивым тенорком:

В пидисят осьмым году  
В Забайкальским во краю  
По бригадам шел приказ:  
Назначали в Амур э-нас.  
Плыли ночь иплыли день,  
Часто садились на мель,  
С мели баржи нас снимали,  
Свою участь проклинали...

– А боле того не упомяну, – осекся дед. Впрочем, через минуту он вспомнил – А то вот друга есть песня.

Он опять затянул беспомощным тенорком:

С стрелки отправлялись с полными возами,  
В Кизи приплывали с горькими слезами.  
Плыли по Амуру великие версты,  
Стерли у рук, у ног свои мы все персты,  
Считаючи, считаючи те горькие версты.

– Опять дале не упомяну, – сказал старик, переставая петь свою невеселую мелодию. – Это все амурские, давношние песни... Ишшо отцы складали, сюда едучи.

Старик покрутил головой.

– Эх, и приняли мы горя, как гнали нас сюда из Забайкалья!

– Кто же гнал? – спросил я.

– Как так кто? Захватил генерал Муравьев реку Амур, манегров попер оттуль, а край был одна пустыня. Ну, значит, был нам в Забайкалья приказ переселяться на Амур. Было тако объявление, что ежели котора сотня ехать не схочет, перевести ее немегля в пешее казачье войско в двадцать четыре часа... Ну, и испугались все...

– Чего же испугались?

– А как же?.. Мы, почитай, триста лет от самого Ермака конные были, да вдруг тебе в пеший строй! У нас считается пеший казак – оборотень. Ну, и не пожелали отцы в оборотнях оставаться, да и пошли на горе свое в переселение...

– Что ж, худо здесь разве? – спросил я. – Край, кажется, благодатный?

– Край-то благодатный, что и говорить! – согласился дед. – Да ить одной благодати мало. Нас-то сюда кинули на болото да в тайгу без дорог и без жилищ. Где Забелино наше, там тигры бродили. От мошки кони назад в Забайкалье за четыре тысячи верст удирали... Во... И то сказать – конь-то удерет, а человек куда поденется, ежели с семьей?.. Уж где без толку кинули, там и живи... А кому не нравилось которым, тех господа офицеры в кнуты брали... Заправят человеку сто горячих, уж тогда ему всякая местность понравится, – только отпустили бы поскорей.

Старик прибавил после паузы:

– Да, гражданин анжинер, времена тогда были такие: чуть что – спускай порты, ложись сечься... Тем и разум воспитывали...

– Вы в Екатерино-Никольское поезжайте, – помолчав, продолжал дед. – Там старик есть ишшо меня постаре, – ему, почитай, за сто годов. Он вам расскажет, как сюда люди с родины по три года пешком шли да в пути мерли. Я еще ничего. Я мальчиком сюда пришел на плоту, в пятьдесят девятом году, с родителями. А главное горе родители приняли.

Больше, чем слова старика, волновало его тяжелое молчание, когда он закончил фразу. Старик стоял у края своей жизни. Вряд ли она уж и вся была так легка и весела. Но вот

случайно пронеслись перед ним воспоминания о картинах, виденных семьдесят лет тому назад, и на лицо его опять легла тень страдания.

– Мертвечину ели, – точно через силу выдавил из себя дед, – в очередь друг дружку убивали солдатики, да и поедали... Во какова жизнь была.

Я уже слышал жуткие рассказы о том, что в 1858 году, при заселении Амура, солдаты и казаки питались мертвечиной и, действительно, по жребию убивали друг друга и съедали. Еще не так давно жил в Благовещенске старик, до конца дней отбывавший церковное покаяние за участие в этих ужасных трапезах. Суд не решился приговорить его к более строгой каре, когда он рассказал, среди каких несчастий ему пришлось совершить свое преступление. Этими несчастиями переселенцы были обязаны исключительно властям, а власти надо было оставить безнаказанными.

Русские уже владели Усть-Зеей – нынешним Благовещенском, – а хотелось иметь большую китайскую реку Эмур-хэ. Это была стародавняя мечта российского империализма. За нее немало было заплачено крови. Правда, в 1847 г. Николай I приказал затею бросить. У него были свои взгляды: «вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, отставить», – надписал он на одном из министерских докладов. Конечно, бросили тогда – боялись царя. Но с новым царствованием мечта возродилась.

Муравьев узнал, что в городке Айгуне – километров 30 ниже Благовещенска – живет китайский князь И-шан. На двух канонерках, с двумя ротами солдат, с казаками и с пушками прибыл Муравьев к Айгуню, расположился на острове вблизи города и пригласил И-шана вступить в переговоры.

Собственно, о чем переговоры?

Муравьев потребовал от И-шана отдачи китайских земель России, по мере возможности без каких бы то ни было разговоров. У князя с испугу только и хватило аргументов для отказа, что, мол, не имеет он с собой государственной печати. Русские возразили, что не в печати счастье, и просили размышлять побойчей, так как через три дня начнут стрелять пушки. Тогда И-шан кое-как обошелся без печати и подписал с Муравьевым договор, по которому Китайская империя, якобы, уступает империи Российской все земли по левому берегу Амура и по правому берегу Уссури.

Вот как просто можно иногда заключать международные соглашения!

Правда, впоследствии Китай пытался опротестовать эту сделку, как насильственную и одностороннюю. Но европейская дипломатия убила Китай, и в 1860 г. Айгуньский грабеж был санкционирован формальным Пекинским договором.

В день, когда И-шан подписал в Айгуне бумажку, на Зее было большое торжество. Русские подошли к самому берегу и стали разбрасывать сбежавшейся толпе серебряные гривенники и пятиалтынные. Под залихватский стук барабанов и вой труб русские высыпали несколько мешков мелкой монеты.

Китайцы тоже были деликатны. От счастья, что их не убивают, они подарили Муравьеву – кроме Амура и Уссури – еще и черную свинью – подарок не только полезный в обиходе, но даже священный, по их верованиям.

Отдача территории, да еще и свиньи, кое-кому выпала боком: И-шан, как родственник богдыхана, отделался сравнительно благополучно – его сняли с должности. Хуже вышло с айгуньским губернатором Жераминго: его-то отдали под суд и заковали в колодку. Чувствуя себя скверно в этом положении, Жераминго подкупил судей и получил позволение отправиться под конвоем в сельцо Хабаровку – нынешний Хабаровск. Там жил Муравьев. Жераминго пришел просить Муравьева возратить, если возможно, Амур обратно Китаю.

Не вернул Муравьев. Не из таких был людей!

Мне рассказывал о нем один древний старик:

– Вот енарал был, дай бог царство небесное... С кажным здоровкался... Бывало подойдет: «Здорово!..» – «Здравия желам, ваше превосходительство». – «Кашу вчерась кушали?..» – «Так точно, кушали!» – «Л-ладно!..» И уйдет. Вот какой был! Грудь табе

колесом, а на груди орден!.. Да!.. И никогда, заметьте, простудой не болел...

Муравьев-Амурский взял Амур у китайцев без выстрела. Чтобы закрепить за Россией пустынный берег, он решил заселить его казаками в принудительном порядке. Переселенчество было организовано гражданскими чиновниками. Чиновники брали взятки с тех, кто не желал покинуть насиженные места, и обворовывали тех, кто решался на переселение. Переселение прошло среди невероятных мучений, лишений, испытаний. Много народу умерло от болезней, а партия в несколько сот человек погибла в пути от голода: продовольствие было расхищено интендантами. На берегах Зеи и Амура показывают иные курганчики – могилы несчастных переселенцев 1858 года, погибших голодной смертью в пути.

«Вчера кашу кушали?..» – «Так точно, кушали».

### 3. Вздох казачки

Я сидел в гостях у знакомого казака в Екатерино-Никольском. Дом расположен на берегу Амура. Я сидел у окна и глядел на противоположный берег. Оба берега одинаково земляные, оба одинаково противоположны. Течет между ними хоть и изрядно широкая, но все же обыкновенная водяная река Амур. Все очень обыкновенно. Но оттого, что на том берегу другая страна, другие люди, другие взаимоотношения у людей, он представляется необыкновенным и таинственным. А там чистое поле. Немного поодаль от воды стоит одинокая деревянная постройка, балаган, как называют здесь строения временного типа.

Недалеко от балагана горел костер.

– Там живут? – спросил я.

Хозяин пояснил:

– Нет, заимка у их там. Сенокосы... Действительно, в поле стояли стога сена, паслись лошади. Китайцы, повидимому, варили на костре пищу.

Мой хозяин не был расположен продолжать разговор о том берегу, но его баба, дородная, высоченная постройка с басовитым голосом, буркнула:

– Раньчи все наше было...

И вздохнула.

Трудно было понять, что значит это указание. Как могла эта заимка принадлежать никольскому казаку?

Противоположный берег Амура никогда не был ни советским, ни российским.

Сердитый вздох казачки открывал, однако, много интересных вещей.

Что сделала царская власть с людьми, прибывшими сюда с таким трудом в 1858 году?

В эту эпоху в Америке, в Южной Африке, в Австралии, в Новой Зеландии тоже появились новоселы.

Они тоже встретились с первобытной природой. Они тоже, как амурские поселенцы, нашли на новых местах глухие леса, болота и нетронутые земли. Но государства, которым принадлежали эти необжитые края, помогали переселенцам, организовывали их на борьбу с природой, и там вскороста стали возникать значительные промышленные и торговые города. Дикая страна была поднята до уровня культуры всего прочего мира. А неуклюжее и бездарное старое российское государство как завезло сюда новоселов, так и бросило.

Казакам предоставили заниматься охотой в тайге.

– Эх, и лупили же здесь отцы изюбря! – с завистью вспоминают казаки. – Однама пантами и жили.

Панты – молодые рога изюбря и пятнистого оленя. Их покупают китайцы для медицинских целей.

– А и было же здесь зверя!.. Отцы еще у самого берега соболя стреляли, енота, песца. Тем и жили...

Колонисты занялись охотой, а дикая таежная глушь так и оставалась нетронутой, и никто краем не занимался.

Нельзя, однако, сказать, чтобы государство совсем уж отвернулось от новоселов. О казаках цари заботились. Их задаривали льготами, подарками, деньгами и привилегиями. На затраченные здесь суммы можно было бы проложить дороги, построить мосты, осушить болота, – можно было бы создать условия культурного развития.

Но государство пихало казакам подачки, не руководя затратами и не организовав здесь ровно ничего, что могло бы поднять культурный уровень края. Никому, например, и в голову не шло взяться за прокладку дорог в новой стране, за использование ее недр, за промышленное строительство, за общее развитие хозяйства. Можно ли верить, что еще в 80-х годах прошлого века, через 25 лет после овладения краем, сюда, на плодородные берега Амура, хлеб привозили из России, морем из Одессы через Владивосток?! А казаки сделались буквально пенсионерами государства. Они занимались охотой и угрюмо пропивали в нетронутой таежной тишине и царские милости и охотничьи заработки.

Едва ли не в конце 80-х годов стали, наконец, казаки заниматься земледелием.

Норма земельного надела была сто десятин на душу. Семья из пяти человек получала пятьсот десятин – целое поместье.

Но где взять рабочую силу для обработки?

Этот вопрос разрешался просто:

– На ту сторону ездили, к китаёзам. У их там хорошо рабочих набирать: народ они работающий, и к тому же голодуют. Задешево работать рады, – скажет вам и сейчас любой казак.

Переселенцы обрабатывали свои земли руками китайских батраков и зажили помещиками. Несли молодецки царскую службу и держали лихих коней.

– Ух, и добрячки ж кони были у отцов! – говорят казаки.

Один рассказал мне:

– Как взяли меня на диствительну, пошел я с домашним конем, а он был неезжанный конь, без узды восемь лет ходил, – одно дело делал: кушал. Ну, приезжаю я в Благовещенск, в полк... Посмотрела галерка мово жеребца... «Так, – говорят, – и так, немолодой твой конь, а ну только должон ты на ем призы брать и должон на ем по ипсод-рому скакать с разрешения командира полка... Небеспременно тебе по ипсодрому скакать»... Ну-к, чево ж? Пошел я к командиру полка, к полковнику Васильеву... Слыхали за полковника Васильева, должно быть?.. Нет?.. Как же? Третьим амурским командовал. Ну, пошел до него, докладываю, – так, мол, и так. А он говорит: «Ладно, – говорит!.. Скачи!.. Доскачешь, – молодец будешь, а не доскачешь, – морду, мол, поломаю за дерзость».

– Ну, и что?

– А ничего! Доскакал!.. От офицера приз отодрал... Пятьсот рублей, однако! Ух, и выпили ж тогда!..

Однако и при помещиках, которым средства позволяли держать неезжанных коней восемь лет без узды, край все-таки не стал культурней.

Казаки обрабатывали свои огромные наделы только до первого трудного места. Едва требовалось какое-нибудь культурное усилие, – хотя бы проведение простой канавы по болоту, – казаки отступали.

– Да и не стоило давать себе лишний труд, – пояснил мне один местный старожил. – Просто переезжали хозяева на тот берег, находили там участочки поудобней и обрабатывали, сколько душа просит... На том берегу земля такая же пустая, как и на этом, а рабочих все равно надо брать китайцев.

Эта странная международная идиллия в пустыне приводила к тому, что, оставляя русский берег необработанным и диким, казаки имели свои сенокосы, пастбища, охоты и даже посевы нередко на восемьдесят верст в глубь китайской земли.

– Когда ж все одно, – земля не меряная...

Царское правительство, конечно, снисходительно смотрело на идиллию. Но с приходом советской власти, т. е. с введением трудового землепользования, она прекратилась. Вот о чем вздыхала казачья матрона:

– Раньше все наше было...

#### 4. Сторона таежная

Еще и по сей день, когда уже далеко не все «наше», казачьи станицы на Амуре носят следы бывшего богатства.

Добротные дома нередко крыты оцинкованным железом, внутри домов сохранилась городская мебель, цветы, занавесы в окнах, крашеные полы. Войдешь в такой дом и не веришь, что ты в деревне, – настолько все имеет городской вид.

Однако нигде в России я не видал такого непостижимого соединения материальной обеспеченности с самой примитивной некультурностью. В казачьих усадьбах нигде нет, например, ни конюшен, ни коровников. Скот ночует под открытым небом, да и то на улице – во двор его не впускают. Ночью, проходя по темным улицам амурских станиц, свежий человек может провести время с большим разнообразием: утопая в грязи, оступаясь и бухая в ухабы, он поминутно натывается на спящую посреди улицы корову или лошадь. Правильней даже будет сказать просто так: все станичное стадо и весь табун ночуют на улице, хотя бы и в дождь, и в снег, и в грязь, и свежий человек, проходя по улице, чувствует себя, как на пастбище среди коров и лошадей.

Я видел в станице Бабстовской: скот вернулся с пастбища. Улица наполнилась животными. Не менее двухсот коров и трехсот коней появились на улице и остановились. Они запрудили всю улицу. Шел дождь, гнусный, мелкий, неторопливый биробиджанский дождь, от которого делается мокро на душе и сыро до мозга костей. Оловянное небо было противно, тайга гудела зловеще, и глухо хлюпала грязь. Коровы уныло завалились в грязь, а кони, понуро опустив головы, стояли вдоль и поперек улицы.

Мне сделалось как-то особенно тоскливо, когда я поговорил с моим хозяином. Я пытался доказать ему, что так держать скот, прежде всего, безрассудно, потому что невыгодно. Долго убеждать его, впрочем, не пришлось: он и сам все отлично знал. Он даже перебил меня с первых же моих слов.

– Как же! Как же!.. – сказал он. – Тут года два назад агролом приезжал, доказывал все. Оч-чень даже, знаете, правильно: взял от хозяев половину скота да в помещение, да подстил менял, да смотрел за им. А половину пустил этак вот, по старинке. Так ить, представьте себе, – стали, однако, вдвое боле те коровы доиться, за которыми уход был.

– Ну, вот видите!.. – воскликнул я. – Чего же лучше?

Но хозяин почесал поясницу, неопределенно как-то помотал головой и сказал:

– Так-то оно так!.. Да уж мы, как деды... Деды так делали, и мы так...

Прибавлю еще, что мой хозяин был не только состоятельный мужик, но на стене висел у него и диплом на звание образцового хозяина. В этих местах достаточно расчесать кобыле гриву, чтобы прослыть культурником.

Мы беседовали с ним, стоя на крыльце. Вся улица застроена такими же хорошими, крепкими домами, как его дом, и почти все они крыты железом, и ото всех домов веет сытым достатком. И у всех домов стоят и мокнут на улице коровы и лошади.

Казачи обычно чисты и опрятны. Понятие это, разумеется, относительное. Я помню, как я рассмешил одного парня, став мыть лицо мылом. Он со смеху чуть не выронил кружку, из которой сливал мне воду.

– Да нешто так моются? У нас брызнул на руки, и будь здоров. А ты прямо стирку морде-то задаешь...

Но внутри домов все же соблюдается чистота, порядок, уют. Полы, например, крашеные, и их пачкать не полагается.

В Екатерино-Никольском хозяин, у которого я жил, очень часто отлучался по разным надобностям из помещения. Он что-то мастерил в сарае и бегал в погреб. Каждый раз, возвращаясь в дом, он на крыльце снимал с ног олочи (невысокие сапоги из непромокаемой кожи) и тщательно мыл их в специально приготовленном ведре воды. Это была сложная и

нудная работа: во дворе стояла липкая грязь по щиколотку. Развязывать олочи, соскребать с них комья грязи, надевать на руки и обмывать водой, потом мокрые опять натягивать на ногу – это не развлечение. Да и времени сколько отнимает...

Я сказал ему:

– Хозяин, – говорю, – у тебя, вижу, во дворе вон сколько старых досок свалено и чурок и кулдышек всяких...

– Ну, а чаво ж? Не грешим, не жалуемся...

– Ну, вот! А дорог, – говорю, – по всему двору только две – направо, к погребу, и налево, к амбарам.

– И то верно...

– Так взял бы да проложил из старых досок тротуарчик туда и сюда: и ног бы не пачкал, и с олочами возни не было бы.

Если бы внезапно ударила молния, она не могла бы ослепить его больше, чем мое предложение. Казак даже захлопал глазами. Однако через минуту его растерянность прошла.

– Оно бы, может, и то... – неопределенно процедил он. – Да уж мы так... У нас того нет в обычаях, чтоб по дворам полы выстилать. Уж мы, как деда...

А был он во всем прочем хороший, толковый мужик, да и молодой еще; имел приличное хозяйство, нарядный домик, занавески в окнах, вазоны, крашенные полы. Имел даже примус и сепаратор.

Даже при самой богатой казачьей усадьбе никогда не полагается, например, той маленькой, хотя бы неудобной деревянной будочки для одного, которая свидетельствует, что в усадьбе живут настоящие люди, а не бесплотные духи. Я не знаю, как бы это объяснить поделикатней... Автор имеет в виду уборные. Как бы многочисленно ни было население усадьбы, там нет того, что имеет в виду автор. Зато во дворе или на огороде становится ясно на каждом шагу, как оно разрешает некоторые вопросы обихода.

Казаки очень гостеприимны. Когда неосведомленный человек спрашивает, где находится то, что имеет в виду автор, хозяин выводит его на крыльцо и, показывая широким жестом на усадьбу и на улицу, говорит:

– Пажалсты, пажалсты. Все ваше...

И прибавляет с ласковой улыбкой:

– Хоть вскачь, хоть рысью...

Я встретил в Бабстове большого человека. Он много лет страдает грыжей. Я советовал ему поехать в город лечиться.

– Оно бы, пожалуй, и хорошо! – ответил он. – Дык ить вот, говорят, старики заговором лечат.

Потом я узнал, каким заговором лечат в Бабстове от грыжи. Вот он:

– Матушка-щука! Очи твои медны и зубы твои булатны. Много поедает и пожирает разного зверя и рыбы. Не поедай, матушка-щука, разного зверя и рыбы, а поедай и пожирай у раба божья (имя рек) грыжу красну и грыжу белу из живота, с сердца, с груди, с пахов и других местов. Будь мои договоры и переговоры все сполна, губы мои – замок, уста мои – печать.

Эти слова надо шептать над больным. Ежели помрет, значит, божья воля.

В казачьих станицах, даже в самых старых, даже в самых зажиточных, когда наступает период дождей, грязь стоит вплотную от одной стороны улицы до другой. Заборов здесь мало делают, – дома прямо стоят на улице, и море грязи плещется о фундаменты и снабжает их сыростью. За 70 лет существования богатых, сытых казачьих станиц никому ни в одной из них не пришло в голову прокопать канавы вдоль улиц. Небольшое, кажется, дело. А могло бы отвести воды и оставить пешеходный тротуар. Нигде этого нет. Я посетил летом десятки станиц в Биробиджане и всякий раз, выходя из дому, повыше расправлял свои болотные сапоги. На них все упование.

Мы выехали на лошадях из Екатерино-Никольского на Амуре в село Столбовое. Казаки-ямщики всю дорогу не переставая говорили о какой-то мельнице, лежащей на нашем

пути:

– Беззаконная она!

– Почему? – спросил я.

– Да как же?! Была она хозяйская, Миколая Ваньча мельница, станичника нашего. Богатый он был человек, ух!

– Ну, и что?

– Ну, купила у него кредитка ту мельницу, отлимонтировала, и теперь мельница на полный ход работает.

Я не находил, чтоб это было скверно. Но казаки держались другого взгляда.

– Дык, однако, Миколай-то Ваньч!..

– Что Миколай Ваньч?

– Дык, без мельницы-то!.. А ить первый богатей был!

Казаки были безутешны за Миколая Ваньча всю дорогу:

– Да помилуйте!.. Одна беззакония!.. Мельница-то его? Его. А доход-то кредитка получают? Это ж по какому такому праву? Ему пять тыщ дадено? А разе ей пять тыщ цена? За ее и десять мало! Из кедра кладена! А плотина какая! Така плотина тыщу лет простоит! А анбар!.. А сарай!.. Хосподи!..

И только одного почему-то никто не сказал: что мельницу приводит в движение вода целебного источника.

Лишь когда профессора, члены научной экспедиции, с которой я путешествовал, обратили внимание на ее особый вкус, то казаки вспомнили, что, действительно, перед войной приезжали сюда люди, доктора какие-то, брали воду на пробу и говорили, что она «до живота пользительна».

– Сказывали, надобно, мол, здесь лечебню строить.

Помешала, повидимому, война, и с той поры никто не обращал на минеральную воду никакого внимания.

– На кой она нам сдалась? У нас деды больше до живота водку потребляли! И нам так само велели.

Мощность источника настолько значительна, что зимой вода не замерзает на несколько километров от места выхода.

Я задержался в этих местах и как-то поехал со знакомыми казаками на охоту. Здесь в хлебах фазанов очень много. Увлечшись, я не заметил, как зашел в густую траву – выше человеческого роста. Ходить там довольно опасно: под травой много ям. Я и провалился. Яма оказалась очень правильной формы. В ней обнажилась почва – рассыпчатая, темно-желтая.

Опять оказалось, что лет пятнадцать тому назад сюда приезжали какие-то люди, судя по рассказам, иностранцы, рыли землю, брали на пробу и обнаружили месторождение охры. Но разработкой никто никогда не занимался. Охру берут иногда бабы для своих надобностей, а так-то ею не пользуются.

– Кой в ей прок? – сказали мои казаки. – Деды и без ней здоровы были.

Этот разговор об охре медленно тлел у нас на привале. Казаки, хоть и слышали, что в Биробиджане есть сурьма, графит, медь, железо, драгоценные камни и даже золото, но мало этим интересуются. В горах тунгусы и пришлые старатели моют золото, а казакам это не интересно. Жизнь их и без того сытая и ленивая.

– А вот позвольте спросить, как вы из Москвы приезжий, – сказал один из моих охотников, – а што, а где теперь Николашка?

– Какой Николашка? – спросил я.

– А царь-то!.. Николай второй игде?

Я был изумлен вопросом, но все же рассказал, когда и какая судьба постигла Николая второго.

– Дык, значит, правда? – с замечательным безразличием спросил казак.

– А вы не знали разве?

– Нет, как же! Слыхали! Говорили, мол, загнулся и в живых не значится.

Казак сказал это позевывая. Он был утомлен охотой и отяжелел от еды. Он откинулся на траву, почесывая поясицу, и заснул.

Я с неловким чувством заносил потом этот разговор в записную книжку. Я ставил себя на место читателя, и мне самому казалось неправдоподобным: все-таки на тринадцатом году революции! К тому же мои собеседники были пожилые казаки, служили на действительной службе, оба домохозяева, грамотные, не пьющие и по-своему толковые.

В Биробиджане, да и во всем Приамурье, да и на всем Дальнем Востоке нет дорог.

Это значит приблизительно вот что. Есть места, куда в иные периоды года никто ни за какие деньги не соглашается ехать. Таково, для примера, село Раздельное в восьми километрах от железной дороги. Летом, когда то, что служит дорогой, размыто дождями, Раздельное обращается в своего рода остров Врангеля: оно отрезано от мира. А ведь всего-на-всего восемь километров.

В иных местах дорог нет, потому что их трудно проложить из-за природных условий местности; для этого нужны капитальные затраты, об этом давно должно было позаботиться государство, колонизировавшее этот край, а оно не позаботилось. Это характеризует колониционную политику царизма.

Но есть и другие бездорожные места. Здесь дорогу провести и можно бы, никаких капитальных затрат для этого не надо; надо немного доброй воли, надо продрать медвежьи глаза, а их не продают. Это характеризует культурный уровень, на котором царская власть держала жителей.

Я вычитал в благовещенской газете «Амурская Правда» радостное сообщение из некоей деревни Гураны. Начинается заметка так: «Сорок лег гуранцы топили лошадей по падым (низинам)».

Правда, на Амуре есть станицы, где топят лошадей уже семьдесят лет, и в этом смысле заметка благовещенской газеты выходит немного тускленькой, но все-таки и сорок лет срок порядочный.

Не надо думать, однако, что бедняги-гуранцы живут, скажем, у подножья горы, которая оползает и разрушает их дорогу, или у обрыва, который невозможно засыпать. Нет. Дело потопления гуранских лошадей покоилось исключительно на любительском терпении самих гуранцев. Они, по словам газеты, положили конец бедствию, когда «настлали 130 сажень накатником и 70 сажень засыпали». Только всех и забот! Нужно было целых сорок лет подряд топить коней, раньше чем пришла в головы мысль – починить примитивными домашними средствами четыреста метров дороги...

Я уже упоминал, что путешествовал здесь совместно с одной научной экспедицией. Она состояла из группы советских и американских ученых и производила обследование сельскохозяйственных возможностей Приамурья, верней, той его части, которая заключена между Амуром и его притоками Бирой и Биджаной. Эта местность так и называется Биробиджаном. Экспедиция была организована обществом американских друзей еврейского земледелия в советском Союзе – Икор.

Мы приехали как-то пароходом в село Михайло-Семеновское. Это одно из крупнейших на Амуре. Здесь свыше 1 500 жителей. Село – центр целого района, здесь РИК. Нам надо было отсюда поскорей выехать в глубь страны. Ямщики-казаки почему-то запросили в три с половиной раза дороже, чем принято и даже чем мы платили в других местах. Шкуры сдирали с нас не спеша, с поплеыванием, с цыгарочкой в зубах и с известными рассуждениями о цене овса:

– Да пойдя, купи! Да ишшо наплачешься!..

Потом ямщики прибавляли, что им и вовсе не охота теперь ехать, что лучше бы и нам не ехать на лошадях, а возвращаться водой, откуда приехали.

– А то ить наша местность кака, – знаете? Болото одно и никаких двадцать...

Сказав про болото и про двадцать, ямщики медленно поворачивались и направлялись к выходу. Тогда наш завхоз звал их обратно и накидывал еще пятерку. Эта канитель кончилась

лишь тогда, когда казаки настояли на своей цене.

– Уж зато коней преставим – будете довольны! – пообещали они.

– Выезжаем завтра в семь утра. Смотрите, не опоздайте, – объявил им завхоз.

– Будьте без сумления. Мы вас в шесть разбудим...

В шесть они нас не разбудили. В шесть мы встали сами. Американцы быстро оделись, умылись и сложили постели. Начальник экспедиции, профессор Утахского университета, мистер Хэррис, жизнерадостный, бодрый, веселый человек, приступил к очередным упражнениям в русском языке. Он сказал:

– Да! Да! Арошоу! Арошоу! Да!

Чтобы не переутомиться, он заявил по-английски, что этого на сегодня довольно, так как скоро пора ехать.

Потом наступило восемь часов утра. Ямщиков не было. В девять один из них явился. Он пришел спросить, хотим ли мы сегодня ехать и можно ли подавать лошадей. От имени исследовательской экспедиции наш завхоз кричал на него, как бешеный. Казак лениво почесывался и слушал без обиды.

– Ну, так я пойду скажу, пушай коней подают, – сказал он.

В десять часов утра американцы были зелены от злости. Мы с завхозом пошли разыскивать ямщиков. Мы нашли их в одиннадцать. Казаки были в недоумении, видя наше раздражение. Один даже сказал мне довольно сердито:

– Дык у нас-то ведь кони на поле пасутся! Их ишшо надо разыскать! На чужом коню не поедешь, однако.

Прибавляя свое амурское «однако» через каждые два слова, казаки клялись, что в семь часов утра никак нельзя было и думать выехать.

– Потому вчерась, как уговорились мы с вами ехать-то, часов пять было, однако? Было. Ну, мы сейчас тогда и погнали коней в поле. Пушай, однако, подъедят перед дорогой. Правильно? Ведь, товарищ, и вы, небось, перед дорогой подкрепляетесь, а? То-то. А ведь не конь на тебе, а ты на коню ехать будешь, однако. Так? Ну, значит, должен конь попасться. А ежели он в поле ушел пастись, дык разве звестно, где его искать? Вон прошлый год у нашего же у одного у соседа конь нивесть каким каком прямо с поля в тайгу убрел. Так почитай только через полгода и снайшли. Через тайгу двести верстов самосильно отмахал да почитай у самой Уссуры сыскался. То-то! А вы б все хотели раз враз. Так, товарищ, нельзя. Вы люди образованные, заграничные, вы должны понятие иметь, что не могу я в табуне чужого коня иметь, а только именно должен иметь своо, а не то я могу по уголовному делу пройти, а я сроду не судимый, бог миловал, дай бог дальше не хуже.

Не было никаких сил остановить этот поток слов. Если бы хоть видеть какой-нибудь блеск насмешки в глазах, хоть слышать в голосе какую-нибудь лукавую нотку человека, который сознательно заговаривает зубы! Нет! Труха сыпалась монотонно и нудно. Казаки были убеждены, что мы придираемся. Когда кони, наконец, пришли, это оказались безнадежные клячи с обвислыми животами. На них болталась упряжь из веревок.

Наконец, выехали...

Не долго, однако, ехали: за околицей, шагах в двадцати от последнего дома, проходит канава. Она довольно глубока и когда летом наполняется водой, то вброд ее не перейти, – кони плавают. Переправляются с берега на берег в лодке. Болтается здесь длинная, метра в два, но узенькая лодочка. В нее садятся, отпихиваются толчком от берега, и она сразу же у другого. Весел нет, шеста порядочного нет, – отпихиваются просто руками. Канава, хотя и проходит за околицей, все же лежит в пределах сельской территории, в пределах поскотины. Части села, расположенные по обе стороны ее, органически между собой связаны.

В момент нашего приезда на берег там скопилось несколько телег с кладью. Да и у нас было три телеги разных вещей. Кладь тоже перегружается в лодку, разбираются и телеги и тоже ставятся в лодку, – отдельно передки, отдельно задки. Лошади переходят вплавь. Это продолжалось бесконечно долго. На берегу скопилась масса народа – конного и пешего: какие-то явились бабы, деды, охотники, ребята, а лодочка все шныряла взад и вперед да

шныряла, перевоза по чайной ложке.

Я спросил одного охотника, почему здесь мостика не перекинут через канаву. И не бог весть какой мостик и нужен – метра в три. Охотник пожал плечами и мотнул головой:

– Был здесь мостик, – сказал он, – да нето провалился, нето испортился, а с той поры не починяют.

– А давно? – полюбопытствовал я.

Охотник не сразу ответил.

– Да почитай годов с десять назад, – сказал он, подумав.

– Неужели так-таки барсуками и жили богатые люди?

В Екатерино-Никольском на скользком бугорке, в деревянной лавке помещается фактория Дальгосторга по скупке пушнины и золота. Когда-то здесь помещалась казенная винная лавка. Старожил, с которым мы как-то проходили мимо лавки, сказал:

– Эх, где она, волюшка?..

– Какая волюшка? – спросил я.

– А бывало, как привезут свежий товар, сойдутся старики, голов двадцать, все хозяева покрепче, да как вынесут ящика три-четыре водки, да как засядут на завалинке, да как расставят штофы все в ряд, да как завалятся пить, так пока не разопьют, не уйдут.

– Ну и пьяницы! – заметил я.

Старожил спохватился.

– Какие, бог с вами, пьяницы?.. Просто старики, казаки!.. Все народ почтенный, сытый.

Я знаю, конечно, что не надо ехать из европейской части Союза десять тысяч километров, чтобы видеть пьяниц, собирающихся табунами в двадцать «голов», и видеть глушь и бескультурье, и видеть диких, в сущности, людей. Я сам встречал и в Подольской, например, губернии крестьян, которые любят потреблять водку во-внутрь, а в некоторых деревнях Костромской губернии, в лесных уездах, встречал мужиков, которые не делают маникюра.

Но никакой все-таки нельзя проводить параллели между нашим темным дореволюционным крестьянством и амурскими казаками. Наши крестьяне пережили крепостное право, да и после него из поколения в поколение погибали в нищете. До какой уж тут культуры, когда жрать было нечего? Где могла она поместиться, культура, у крестьян, у которых «тае, куренка выпустить негде»? Кого может удивить темнота, раз она плетется в хвосте вековой нищеты?..

Но казаки-то ведь никогда не знали ни крепостного права, ни бедности. Они пользовались всеми привилегиями и располагали большим достатком...

Кто же виноват в их темноте?

– Таежная наша сторона, глухая... Куда от нас поедешь?.. – говорят казаки.

## 5. Корейцы

– Вы бы съездили в Благословенное к корейцам, – неоднократно советовали мне знакомые во время моего пребывания на Амуре. – Одно из самых крупных здесь сел и, к тому же, корейское, – посмотрите, как корейцы живут.

Корейцы, которых я часто встречал в Екатерино-Никольском, в кооперативе и фактории, похожи на китайцев. Однако есть в лице корейца какая-то тонкость, прозрачность и спокойствие, которые несвойственны китайцу.

Я попал в Благословенное в погожий сентябрьский день. Мы подъехали к берегу реки Самарки, впадающей в Амур в двух километрах отсюда. Благословенное – на противоположном берегу. Моста нет, есть лодка. На берегу сидела группа молодых людей и ребят. Издали завидев нас, они быстро бросились в лодку и отчалили.

– Стой! стой! – стали им кричать мои проводники и возницы-казаки. Но лодка продолжала удаляться.

Казаки надрывались:

– Давай лодку! Лодку давай! Стой!

Никто не обращал никакого внимания. Казаки стали обкладывать юношей русским глянцем, который иначе называется матом. Лодка продолжала удаляться.

– Быть может, они и по-русски не понимают, – сказал я.

Я сказал это и тотчас подумал, что понять нас можно было, даже и не зная русского языка. Ясно, чего хотят люди, приехавшие к берегу: они хотят получить лодку. Казак мне ничего не ответил. Он схватил мое ружье и навел его на юношей, сидевших в лодке. Катастрофы быть не могло, ружье не было заряжено. Однако лодка мгновенно повернула и через несколько минут причалила к нашему берегу. Корейские юноши прекрасно говорили по-русски.

– Вот! – воскликнул взбешенный казак. – А вы говорили, они по-нашему не понимают!..

Он замахнулся прикладом, я с трудом вырвал у него ружье. Еще минута и он бы наделал беды.

– Вот они вам, фазаны мореные! – сказал казак. – Как ты к нему с добром, так он «моя понимай нет». Нельзя с ними иначе, как в морду.

Эта встреча была маленький и беглый образец русско-корейских взаимоотношений, какие установились и культивировались здесь в «доброе» старое время.

Я вспомнил, что мои знакомые, советуя посмотреть корейское село, неизменно прибавляли:

– Если только пустят они вас.

Зажиточное – даже по амурским масштабам – корейское село Благословенное существует с 1869 года. Голод выгнал в этот год большие массы населения из Северной Кореи. Выселенцы, перешедшие русскую границу, получили разрешение обосноваться на берегу Амура. Корейцы построили себе деревню, примерно, в двух километрах от впадения в Амур быстрой и дикой речки Самарки. Село было названо Благословенным, – вероятно, из желания угодить начальству. Село приняло православие и вскоре сделалось поставщиком православных миссионеров в Корею. В Благовещенске была даже специальная православная духовная семинария для корейцев.

Быт деревни своеобразен. Корейские дома очень отличаются по виду от европейских. Корейская фанза крыта камышом или соломой. Поверх крыши плетеная сетка. Стены разрисованы миниатюрными, но своеобразными и вычурными узорами. Окна маленькие, двери низкие. Окна и двери залеплены тончайшей марлей, а то и папиросной бумагой. Внутри фанз проведено подземное и очень остроумно устроенное духовое отопление. Дворы чисты и подметены. При каждом, даже бедном, доме – палисадничек, где пестреют цветы. Улицы имеют названия, дома номерованы. Сами корейцы опрятны, чисты. Они обладают изумительной способностью сохранять чистоту одежды. Я видел женщин за кухонной работой, мужчин – на конюшне: белые одежды оставались на них белы и чисты и придавали их труду какую-то нигде не встречающуюся воздушность.

Но эти симпатичные дяди с козлиными бородками и в старомодных поповских котелках – кулаки. Они, к тому же, разбогатели на опиуме. Колоссальные плантации мака долгие годы давали им сотни пудов опиума.

Когда стебель мака еще зелен, на нем делают надрезы и собирают сок. Сок варят, и из него получают опий. Продавали по семьдесят рублей фунт. С десятины получали до пяти тысяч чистого дохода, – рассказывают казаки.

Подобно казакам, корейцы тоже широко пользовались дешевой рабочей силой с «того» берега, т. е. китайцами. Маковые плантации обрабатывались руками полуголодных китайских рабочих. Это были подлинные рабы. Они получали гроши, и их прогоняли по окончании сезона. Тогда они возвращались в Китай и приводили к своим хозяевам в гости хунхузов. Набеги бывали разорительны и кровопролитны.

Хунхузы набегали вооруженными бандами, нередко до пятисот человек. Они окружали село, грабили у плантаторов запасы опиума и, быстро спустившись на челноках вниз по

Самарке в Амур, уходили на противоположный берег.

Корейцы пытались принять организованные меры охраны. Руками все тех же китайских рабочих они вырыли вокруг деревни ров и обнесли его высоким валом. По окончании работ китайцев прогнали.

Только недавно, кажется, всего лишь в 1926 г. советская власть, запретив промышленное мако-сеяние, положила конец этим первобытным приключениям. Когда корейцы перестали сеять мак и у них не стало опиума, прекратились набеги хунхузов. Все вошло в мирную колею. Но крепостной вал стоял много времени, и большой колокол продолжал висеть у ворот, готовый поднять тревогу при первой опасности. По ночам вал охранялся, закрывались крепостные ворота, и кто приезжал поздно, вынужден бывал ночевать по ту сторону вала, на болоте.

Слишком подозрительно часто, однако, рассказывали мне о необычайных нравах корейского кулачья.

Вот, хотя бы насчет постройки вала.

– Семнадцать тысяч вся работа стоила, – говорили мои проводники. – Да, впрочем, не всем заплатили: которые рабочие знали секрет укрепления, тех поубивали да в Самарку...

– Сплавляли мы лес по Самарке, – говорят двое-казаков. – Плыдем однажды ночью и вдруг видим из-за кустов такое дело: корейцы двух китаёзов связанных ведут. Привели к берегу, трах кулдышкой по голова да и в воду. Так Амур и унес. Мы сквозь кусты видели да прямо обомлели, затаились, очень уж за себя перепугались.

– За что же бы это? – спросил я.

– За что? Должно быть, те китаёзы у их опиум украли. У них ежели кто опиум украл, так тут разговор недолгий, – кулдышкой по башке да в воду. И будьте здоровы, кланяйтесь вашим.

– Ну, а что ж потом было?

– А потом побегли мы в исполком, доложили, мол, так и так. Мол, из Благословенного корейцы двух людей благословили. Ну, снарядили следствие. Да разве у них доследуешь? Они один за другого горой стоят.

А корейская беднота – настоящий «бродячий рабочий скот». Еще не так давно, незадолго до войны, в районе озера Ханки, возле Сучана, где тоже много корейцев, осенью, после уборки урожая, казаки и староверы выходили в поле и в тайгу «охотиться» на корейцев. Последствий это не имело. Никому и в голову не приходило возбуждать дела о такого рода убийствах.

Мне пришлось несколько раз проходить вдоль вала в Благословенном. Было солнечно и жарко. Глина на валу потрескалась, в пересохшей траве грелись ленивые ящерицы и стрекотали цикады. Этот вал не похож ни на одно из когда-нибудь виденных мною укреплений. В нем есть что-то свое, особенное, для чего мне было бы очень трудно подобрать подходящее название.

Бежит широкая и дикая река; берег ее – сколько видно – пустынная степь, заросшая густой травой. И эта крепостная стена!..

Где-то, и совсем не так далеко, цивилизованный мир живет сложной жизнью двадцатого столетия, а тут еще только разворачиваются древние века.

## 6. Горячий ключ

У ст. Биракан Уссурийской дороги лежит небольшой и неуклюжий поселок. Какой-то он разбросанный и беспорядочный, унылые домишки стоят не в ряд, а все больше боком, от одного до другого далеко, чуть не полкилометра, и потому кажется поселок безрадостным и как-то по-расейски унылым. А кругом – высокие горы, альпийские луга, у подножья шумит волшебной-прекрасной река Бира, и в ее грохочущих водах отражаются кедры и заросли диких береговых лиан.

Поселок существует недавно, образовался он лет пятнадцать тому назад, когда строили

Уссурийскую дорогу и здесь осели строители, все люди далекие, чужие, каждый со своими обычаями, «сброд пресвятые богородицы», как выразилась одна местная жительница.

Но до постройки железной дороги здесь и вовсе людей не было. Да и сейчас край дик и пустынен. Ближайшее отсюда место, где живет кое-какая горсточка народу, – село Яурино, в самой глубине Архаро-Хинганских гор, километрах в ста хороших от Биракана. Ехать в Яурино нужно раньше горной дорогой, а потом глухой тропой. Но зачем туда ехать? Никто никогда в Яурино не едет. Всего и живет там несколько охотников. Там местность глухая и почва солончаковая, поэтому водится там много всякого зверя и особенно много изюбрей. Настрелявши и собрав шкуры и панты, охотники сами приходят тропой в Биракан, в факторию Дальгосторга, продадут, наменяют, купят, что надо, и назад. Так они и живут в горах и в тайге, как в заповеднике.

Лет восемь тому назад культура сделала шаг в глубину тайги: в тридцати пяти километрах от железной дороги, т. е. через тридцать пять километров тайги, ухабов, горных валунов, перелазов и круч, стоит электростанция и горит электричество. На довольно обширной площади, расчищенной в тайге, стоит несколько нарядных деревянных зданий. Внутри этих зданий – паровое отопление, электричество, телефон, музыка, вообще – цивилизованный уголок. А если стать к зданиям спиной и поглядеть кругом, то кругом – от самого сотворения мира глухой, нетронутый и дремучий лес, и его напряженный гул сливается с шумом речки, неутомимо бегущей с гор.

Это курорт Кульдур.

Сила его в горячих сернистых источниках. Правильная врачебная эксплуатация курорта началась лет шесть-восемь тому назад, но населению он известен еще с 1918 г., т. е. лет двенадцать. Еще посейчас уцелели примитивные ванны, которые выкапывали в земле первые купальщики: просто ямки, наполненные теплой сернистой водой. Сюда ложились больные и барахтались – до исцеления или до смерти.

Кульдур обладает исключительной силой. Его горячая сернистая вода как-будто сильнее пятигорской и мацестинской и при лечении самых разнообразных болезней действительно делает чудеса. Я видел старика с Алдана. Он приехал с костылем и палкой. А через шесть недель лечения пошел из Кульдура к железной дороге, т. е. тридцать пять километров, пешком. Лет ему было семьдесят. Случаи, когда люди оставляли на Кульдуре костыли, не редки. Кульдур особенно благоприятен при незаживлении ран. В этом я убедился на себе. У меня была на ноге кровоточившая ранка. По совету кульдурского доктора я погрузил ногу в воду, и ранка бесследно затянулась.

Нет той глухой станицы, нет того далекого туземного пастбища, где не знали бы, что на Кульдуре исцеляются болезни в теплом ключе. Сюда приезжают со всех концов Дальнего Востока и не только советского, приезжают даже из Китая и Японии.

Приезжают, поселяются в светлых больничных корпусах, где врачебный уход, и библиотека, и кружки, и газеты, и вечером горит электричество и играет музыка. А за оградой цивилизация кончается: если больной уйдет в лес по грибы, он не может найти дороги обратно. По вечерам электростанция непрерывно гудит, чтобы помочь заблудившимся выбраться из лесной чащи. А лесная чаща – тайга, и стоит раз обернуться вокруг самого себя и все пропало: никто не разберет, где была правая и где была левая сторона, и в ста шагах от дома дороги не найдет. Кедры стоят темно-зеленой стеной. Ветер порхает по их вершинам, а внизу густой сетью сплелись лианы» Летом они зелены, и причудливые цветы выются между ними. Осенью они горят багрянцем, как закат. Тайгой поросли глухие обрывы, а на дне их хлопотливо шумят горные реки.

Как узналось, что в этой глуши есть целебные воды? Геологическое обследование открыло источник или случай? Как-нибудь случайно, среди многообразия жизни, забрел сюда человек, знавший, что горячая сернистая вода целебна, и потом пустил слух?

Нет, не заглядывали сюда геологи и не ученый человек открыл тайну горячих ключей. Все произошло совсем по-другому.

Мне рассказал об этом старый охотник, а впоследствии от врачей и директора курорта

я слышал тот же рассказ.

На полдороге между Бираканом и Кульдуром стоит в лесу одинокая изба. Здесь делают привал пассажиры, едущие на курорт и обратно.

Я встретил здесь старичишку небольшого роста, невзрачного на вид. Голова у него была стриженная, усы тоже подстриженные, – он был похож на старого солдата; шамкал и макал хлеб в молоко. Он обратил внимание на мое ружье и стал меня расспрашивать, кто я, зачем еду и какого зверя намерен бить. Он и сам оказался охотником. Старенькая берданка была прислонена к стенке рядом с ним. Старик пожаловался, что с устройством курорта Кульдур казна подорвала охоту.

– Разбежался зверь! Столько здесь народу стало ездить, что зверя совсем отвадили.

Отсюда и пошла наша беседа, и старик рассказал мне, почему пропал зверь. Он говорил в таком смысле, что вот, мол, как иногда люди могут сами себе напортить:

– Тут еще лет пятнадцать тому назад изюбря было, как у бабы блох. Сколько ни били люди, а он все плодился и плодился. И так само медведь! И так само кабан! И так само козуля! И так само всякий зверь божий! И тигра здесь жила! Но вот как случилось, что предал русский человек, и повадились сюда больные ездить со всего света, – вот и уходить стал зверь. Через своего же брата и пропадем.

Я спросил, кто кого и как предал. Вот что я узнал:

– Далеко отсюда, за Яурином, и еще может километров сто от Яурина, жил русский охотник и был у него друг закадычный тунгус. И вот охотник заболел и очень тяжело заболел ногами, почти что отняло у него ноги, и никто ему помочь не мог, никто средства не знал против его болезни. А тунгус взялся его вылечить. Он обещал повезти его к горячему ключу и уверял, что обязательно вылечит. Правда, сомневался тунгус, все говорил, что боги будут сердиться, а свои, тунгусы, и вовсе не похвалят, потому что ключ священный. Но очень уж русский упрашивал, в ногах валялся, обещал как угодно одарить, лишь бы вылечил. И тунгус согласился. Но потребовал, чтобы русский поехал за ним с завязанными глазами, дороги чтобы, значит, не выведал. Согласился русский, завязал ему тунгус глаза, посадил на коня и в таком виде повел через тайгу и горы. Шли они и шли, может с неделю, а потом пришли. Развязал тунгус русскому глаза, и видит тот – чистая поляна, и речка здесь бежит чистая, и земля теплая, от земли пар идет и дух серный, и бьют из земли родники. Здесь и стали! Выкопали ямку в теплой земле, ямка наполнилась водой, и просиживал там больной, сколько душа просила, покуда исцелился.

Уж он ли тунгуса благодарил! «Спас ты, мол, мне жизнь!» Потому, сами понимаете, охотнику ноги вернулись! И вот как пришло ему полное исцеление, стали они собираться назад, а тунгус ему опять говорит: «Место это у нас священное.

Здесь мы и зверя не бьем! А как ты не нашей веры человек и наш тебе закон не закон, так ты сюда дороги знать не должен и назад поедешь опять так само с завязанными глазами».

На все был согласен русский. Снова дал себе глаза завязать, и так до дому доехали. А дома, как увидели люди, что он вернулся здоровым, то стали приставать к нему: «скажи и скажи, где был и где он, ключ целебный?»

А он и сам не знал.

Тогда взяли русские и опутали того тунгуса, просто спиртом опутали и выведали-таки, где бьет горячий ключ. Все он им признал. Признал он им, что давно, еще отцы ихние, заметили, что раненый зверь – изюбрь или медведь – ежели не убить на месте, то бежит и все на одну сторону. И пошли охотники-тунгусы по следам и увидели, что звери тянут на эту поляну и лежат раненые в лужах. И посмотрели тунгусы и увидели, что вода в лужах горячая и дух от ней идет особенный, и у зверя раны затягивает. Тогда испугались они, что у зверя такой разум. По-ихнему это выходит – священство. Потому что, – я вам просто скажу, – таежный зверь он считается дикий, а откуда ему такое понятие, того сказать никто не может. Природность в этом есть большая, гражданин дорогой, и каждый об этом деле думать должен.

– Что же тут думать? – спросил я.

– А то думать, – спокойно ответил старик, – что одна тварь об другую живет и у всех разум один, а одна тварь другую истребляет. И так само человек, в той же куче посередке.

Старик кончил свое молоко с хлебом и, аккуратненько сгребая со стола крошки, протянул:

– Только того охотника, который сюда русского завел, тунгусы убили потом и ушли из этих мест, и больше их не видели. Потому что наделали себе беды на свою голову: теперь зверь отсюда чорт его знает куда бежал. В прошлом году зимой на курорт пришла козуля неизвестно каким путем, и тут же ее собаки порвали. Прямо, на куски порвали. Самое у столовой. А больше зверя нет. И тунгусы ушли. Сейчас они километров за триста живут, аж в Тырме. В прошлом году они приносили раненого на горячий ключ. Огнестрельная рана у него была, и они его триста километров тайгой волокли. А потом уехали и больше их не видно. Потому что бесполезное это стало место. Нечего тут больше охотнику делать.

Я уехал от старика. Конь цокал по сухому грунту, и осыпь измельченных валунов скатывалась из-под его ног вниз, в обрыв, заросший сумасшедшей зеленью. Мелкие, как мотыльки, птички стаяй перелетали впереди меня с места на место. Показались строения Кульдура. Они лежат на вулканической площадке, точно на дне глубокой тарелки, возвышенные края которой заросли густым лесом.

Я в этот раз не остановился там, я проехал мимо, в горы. В горах нет ни дорог, ни тропы, никаких следов человека, и грандиозный мир дремлет нетронутый под серебряной шапкой снегов.

## 7. Природные хозяева

Я видел природных хозяев Биробиджана.

В Тихонькой я проходил по улице, и меня позвал к себе знакомый.

– Скорей бегите за аппаратом и приходите снимать! Такая есть модель!.. – сказал он мне через окно.

...В кухне, спиной к дверям, сидела широкоплечая женщина в черном пальто. Вокруг нее столпилась семья моего знакомого и его квартирные хозяева – казаки.

– Во, во, смотри! Товарищ пришла. Он твоя снимай мало-мало! – воскликнула хозяйка при моем появлении.

Это был образец того путаного и ломаного наречия, на котором здесь говорят коренные восточные жители. Русские почему-то тоже прибегают в разговоре с ними к этому своеобразному языку.

– Не бойся! Твоя будет карточку получи.

Эти слова относились к женщине в черном пальто, которая грузно сидела на сундуке спиной к дверям. Я обошел ее со стороны и заглянул в лицо.

Я никогда не видел такого лица. При низком лбе скулы были настолько широки, что ширина лица была больше его длины от основания лба до подбородка. Носик маленький, похожий на пуговку, похожий, верней, на нос обезьяны; глазки еле видны из узких щелей. К тому же лицо было очень мясисто и щеки красны, как куски сырого мяса.

– Сколько ей лет? – спросил я.

Она сама ответила тоненьким, почти детским голосом:

– Моя двацать.

По сложению ей можно бы накинуть еще столько же. По типу женщина была не китаянка и не кореянка. Я подумал – она из племени гольдов: их много живет в Хабаровском округе. Однако женщина была не гольдка.

– Моя – удэ-хе, – сказала она.

Она встала, пальто на ней распахнулось, и я увидел платье своеобразного покроя из китайской дабы, а может быть, из рыбьей кожи, как носят племена орочи и удэ-хе.

– Ну, снимай платок! – приказала хозяйка. – Товарищ твоя снимай буди на карта.

Женщина смотрела растерянно и не соглашалась.

– Моя боюсь, – робко сказала она мне. – Моя шибко боюсь. Твоя скажи папенька, потом папенька моя ругай.

Казачка раскричалась;

– Да не, елова голова! Только ему делов к твоему папеньке бегать. Не будет он папеньке скажи. Не будет! Скидавай шалейку! Так-то оно красивше будет...

Дикарка все не решалась. Но хозяйка была настойчива и в конце концов убедила ее снять пальто. Она согласилась также скинуть платок, и тогда открылись ее волосы, – черные, как смоль, и необычайно жесткие. Они были расчесаны розным пробором и заплетены в две недлинных косы до плеч, туго обвитые красной тесьмой почти во всю длину. Сзади волосы были скреплены самодельной пряжкой, обшитой бусами, блестящими шинельными медными пуговицами и тусклыми пуговицами от брюк.

Женщина быстро схватила со стенки зеркальце, поставила его на койку, села на пол и стала тщательно охорашиваться. Она поправляла волосы, одергивала платье, прилаживала бусы. Она делала все это быстрыми, торопливыми движениями. Потом грузно пересела на сундук и замерла в неподвижной позе, как каменное изваяние.

Она – дочь удэгейского шамана. Ее семья живет километрах в 15, вниз по Бире, недалеко от полустанка Трэк Уссурийской дороги. Живут в легкой яранге, в лесу, у берега реки, в той первобытной простоте, в какой человек жил в далекие времена, когда отложилась и застыла дикая природа здешних мест. Живут охотой и рыбной ловлей.

Рыбу бьют острогой. Ночью выезжают в утлых лодчонках на реку. Зажигают факелы из кедровой лучины и освещают воду. В рыбьем царстве получается целая сенсация, и население реки сбегается к освещенному месту. Тут-то рыболов и действует острогой – меткими ударами он накалывает рыбу на острие, точно забирает вилкой. Для этого нужна совершенно феноменальная, прирожденная меткость: и шмыгающая в воде рыба и погруженная в воду острога видны глазу охотника в преломленном виде, в неверной пропорции расстояния. Приходится сочетать условия движения всех трех данных: движение рыбы, движение воды и движение остроги. Но удэхэ блестяще владеют этим искусством, так как природа не дала им ничего кроме него для борьбы за существование.

Удэгейцы, начиная с шестилетнего возраста, ловят рыбу острогой в таежных стремнинах. Они также исключительные по меткости охотники. Охотятся на зверя даже девушки. Впрочем, та, которую я фотографировал, сказала мне:

– Моя стреляй не люби. Моя раз стреляй – сердце треснуло, больше стреляй не люби.

Но ее сестры стреляют. Я видел квитанцию фактории Охотсоюза в приеме у них белок и колонка.

– Моя мало-мало мука возьми, мало-мало планики. Папенька махолка люби, – моя мало-мало махолка возьми.

У удэгейцев курят все, даже малые дети. В яранге можно видеть, как четырехлетний бутуз, накормившись грудью матери, лезет в карман за трубкой, махоркой, набивает, закуривает от костра и благодушно отваливается на изюбриную шкуру. Кейфует.

Удэ-хе значит – лесные люди. Сейчас их осталось тысячи полторы: они стали исчезать под давлением китайской, а затем и русской колонизации. Они не только не способны ей сопротивляться, но даже не умеют ее принять и подчиниться. Они прирожденные рыболовы и охотники и всегда были в самой бессовестной эксплуатации сначала у китайских, а потом у русских купцов. Они никогда не умели ничего противопоставить угнетению, кроме самой робкой покорности. Спирт, наркотики и побрякушки – вот цена, за которую они отдавали самые дорогие и редкие меха. Это было дикое хищничество, безрассудное к тому же, ибо оно привело этих исключительных охотников к постепенному вымиранию. В безалаберном хозяйстве российского государства часто резали золотоносных кур!.. Удэгейцы целыми семьями слепли от трахомы и умирали от голода, так как не могли выбраться из тайги, и никто никогда и не подумал прийти им на помощь.

Та небольшая кучка, которая сейчас уцелела еще, живет, главным образом, в тайге на склонах Сихотэ-Алиня и в бассейне Имана. На берегах Биры живет, повидимому, небольшая

отколовшаяся горсточка племени.

У Тихонькой Бира образует почти у самого берега, шагах в пятидесяти от него, небольшой песчаный островок. Когда удэхайцы привозят в Тихонькую рыбу на продажу, они никогда не пристают к берегу, а высаживаются на островке.

Кто-нибудь один уносит в село рыбу, а остальные разводят на островке костер, варят пищу или спят. Удэхайцы робки, их ошеломляет жизнь села. Дома, улицы, автомобиль, тракторы – все это пугает их, как извержение вулкана. Убогое село Тихонькое производит на этих жителей тайги впечатление какого-то сумасшедшего Чикаго. Они боятся лишней час провести в этом страшном городе и скромно остаются в стороне, на отмели островка.

Я видел, как моя знакомая переправлялась с островка на материк. Бира в этом месте очень стремительна и бурна. Пересечь ее в лодке на веслах – и то было бы трудно. Но длинный, узкий удэхайский челнок не имеет и весел. Девушка вскочила в него и, правя только багром, зашмыгала между волнами и стремнинами так уверенно и ловко, как городской человек умеет ходить только по асфальтовому тротуару.

Я видел дядю девушки. Дядя был высокий, тощий человек. Он тоже носит волосы в две косы, туго обмотанные красной материей. Он приехал в Тихонькую отправить по почте жалобу в Комитет Севера.

– Милиса плийди, остлога возьми. А моя без остлога рыба лови не могу. Мол сетка не имей, моя удочка не имей. Моя остлога рыба лови, иначе моя помирай.

Он говорил робко, наивно и просто. Я не знаю, кто написал ему жалобу на милицию; не знаю, почему милиция, заступившись за рыбу, отняла единственное средство к существованию у этих людей. Жалоба была уже написана и заклеена в конверт. Но бедняга не знал, что делать с конвертом. Я приклеил марку и опустил конверт в ящик. На лице удэхайца отразились испуг, обида, возмущение и страх. Он не знал, уж не подшутил ли я над ним, бросая письмо в какой-то ящик. Быть может, я нарочно выбросил его жалобу, которую ему «хороши люди напиши». А может быть, так и надо было опустить письмо в ящик. Но тогда что же это за непостижимая жизнь делается на свете и какой же это человек лежит в ящике, который может в темноте рассматривать жалобы на действия милиции?

Удэхайцы пожалуй, – самые отсталые из континентальных народностей Дальнего Востока. Однако девушки носят городские платья, вязаные платки, чулки, сандалии и даже городское белье. Мужчины иногда надевают городскую обувь. Все эти ослепительные вещи приобретаются в кооперативе или в фактории Госторга в обмен на пушнину.

Эти наивные дикари часто встают перед моими глазами, как живое олицетворение Биробиджана. Сильные, выносливые, трудоспособные, но зажатые тайгой и болотами, они в своем развитии не пошли дальше того уровня, на котором прочее человечество стояло много тысяч лет тому назад. И вот они носят кружевное белье и ботинки на шнурках.

Таков и весь Биробиджан. Его величественная природа точно застыла много, много веков тому назад. Она в нетронutom виде сохранила следы громадных геологических катастроф. Рядом с северной пихтой растут остатки тропических пальм, и тигр здесь питается мясом северного оленя. Все здесь противоречиво, первобытно, нетронуто и парадоксально. Самым необычным звуком кажется звук паровозного гудка. Железная дорога в этой девственной глуши напоминает лишь изящную сумочку, какую я видел в руках таежной дикарки.

А между тем, вот уже 70 лет как край присоединен к большому европейскому государству.

## **Насчет евреев**

### **1. Ваня Печкин**

В станице Никольской мне надо было повидать одного казака-охотника по фамилии,

скажем, Печкин. Я сидел со знакомыми агрономами на скамеечке, на берегу. Беседовали. Я вспомнил о Печкине и спросил, где он живет.

– Да вот тут же, от угла третий дом, – сказал один из знакомых и прибавил – А вот сынишка его. Он вас проводит...

Вокруг нас стояла целая толпа мальчуганов. Без лишней скромности скажу сразу, что это скопление юной публики вызывала только моя фигура. Остальные, сидевшие со мной, были что? Они были ничего, – постоянные местные работники, – носили обыкновенные толстовки. А я в тот день появился в станице в необычайном виде: я появился с огромным рюкзаком за спиной, с ружьем невиданного образца, на мне висели через плечо ягдташ, патронташ, баклага, фотографический аппарат, полевой бинокль, а в зубах – моя вместительная трубка, моя верная и неутомимая спутница.

Мальчишки мобилизовались вокруг меня, едва я сошел с парохода, и не покидали меня больше. Хотя я по улицам ходил без ружья, без ягдташа, без патронташа, рюкзака, баклаги, бинокля и аппарата, с одной только трубкой, – мальчуганы не покидали меня и ходили за мной, как за слоном, и смотрели на меня во все глаза, как на передвижной музей.

Когда мой знакомый сказал, что вот, мол, проводит меня Печкина сынишка, мальчуганы расступились, и я увидел паренька лет четырнадцати, блондинчика со смазливym лицом.

– Проводи уж, Ванька! – сказали мальчуганы.

Ваня Печкин выступил немного вперед и расправил грудь: он нужен. Из неизвестного, анонимного члена мальчишеской стаи он делается человеком, который нужен знатному иностранцу. Он даже принялся измерять меня взглядом с головы до ног.

– Ну, что – проводишь меня? – спросил я мальчугана.

– Да как по деньгам, – неожиданно ответил он, все продолжая меня оглядывать.

Я ничего не понял.

– За что ж платить-то?

– А уж за то, – отвечал Ванька, притопывая носком сапога.

Он стоял в позе человека, который не даст маху, который знает себе цену, раз он нужен и раз он один на всем свете только и может выполнить требуемую работу.

– Сколько ж тебе дать?

Я думал – ну, попросит нахал три копейки на конфеты. Но Ванька медленно процедил, глядя мне прямо в глаза:

– Девяносто копеек давайте!

Агроном послал мальчишку ко всем чертям, но тот все же весь вечер ходил и бродил вокруг меня: не предложу ли я восемь гривен. Он бы взял.

Я как-то рассказал об этом среди знакомых. Один из слушателей, как раз еврей, слушал, читая газету, т. е. невнимательно. Когда я кончил, он воскликнул многозначным тоном:

– Наши еврейчики!..

## 2. Миллион и другие

Промышленность на Дальнем Востоке растет и расширяется, но на каждом шагу хозяйственники натываются на отсутствие рабочей силы.

– Нет людей!.. Не с кем работать!..

Это – общий вопль. Нет не только работников высокой квалификации, – нет чернорабочих для вывозки леса, для ловли рыбы, для промывки золота, для ухода за скотом и т. д.

– Приезжают разные люди из России, присылают даже организации людей, но толку от них мало, – говорят хозяйственники. – Едут в нашу даль почему-то чуть не сплошь пьяницы, авантюристы, искатели длинных рублей.

Я был во Владивостоке в конце сентября. В городе было полно сезонников. Это

нарядные молодые люди. Они снуют целыми отрядами по улицам и все в пьяном виде.

Кто они?

Это наезжие рабочие, возвращающиеся с сахалинских и камчатских рыбалок по случаю окончания сезона. Они оделись во все новое, проезжая через Японию. Они привезли крупные суммы денег. Но уже через три-четыре дня деньги спущены, и щеголи продают свои новенькие костюмы на китайском базаре. Я видел, как один снял с себя рубаху и остался голым по пояс. За рубаху он получил не деньги, а косушку, тут же выпил ее и с пьяным плачем повалился ничком на землю.

Ночью в гостинице мне не давали спать: в комнате надо мной происходила оргия. Кто-то стучал ногами по пианино и пел плаксивым голосом: «А я уеду, да я уеду, да уеду в Самарканд». Потом его били, и он плакал. Он умолял, чтобы ему помогли выбросить пианино за окно. Пианино не пролезало.

Он кричал:

– А ежели б был бы б пожар? Надо было б тот фортоплян спасти? Ты б тогда выкинул бы б его за окно?..

Он плакал. Ему зажимали рот и давали тумачков. Но он вырывался и орал:

– Товарищи! Прошу я вас... Подмогните поднять фортоплян!..

Никто не помогал. За окно во двор летели бутылки, стулья и столы.

А я поеду, да поеду, да прямо в самый Сампрканд..

Это становилось невыносимым. Я побежал в контору просить, чтобы несчастному помогли, что ли, выкинуть пианино за окно. Но никто не решался войти в номер:

– Это с Камчатки вернулись!

– Ну, и что?

– Они и убить могут. Уж подождите, пока сами кончат. С Камчатки ведь!

Скандал продолжался.

Явление это, – как я узнал, – бытовое. Когда подходит сезон, в городе только об этом и разговору. Газета ежедневно гремит статьями и фельетонами, а отдел происшествий заполнен хроникой самых разнообразных преступлений: вместе с милыми рыболовами появляются в городе свежие запасы всякой контрабанды, среди которой морфий, опиум, кокаин и оружие занимают первые места. С Камчатки ведь!..

Против этого ведется энергичная борьба. Не только милиция, но и комсомол и профсоюзы выделяют специальные дружины для приема сезонных гостей.

Однако никто не делает из этого никаких трагедий. Все знают, что в море плавает всякая рыба, что в новые страны устремляется, всегда, в первую очередь, элемент авантюрный и бесшабашный, и никто не преувеличивает значения этих сезонных событий.

Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь в разговоре неосторожно впихнул этих пьяниц в такие скобки, где сидит кто-нибудь непьющий.

Но стоит потолкаться среди колонистов-евреев, когда вдруг там обнаружится подобный удалец!..

На станции Биракан Уссурийской дороги восемь евреев организовали артель по обжигу извести. Во главе этой артели стал некий переселенец по прозвищу Иошка-Миллион.

Иошка обладал феноменальной физической силой: он взваливал на плечи десятипудовые мешки и гнул подковы. Он был прекрасным организатором и работником.

Все шло хорошо. У артели не было отбоя от заказов. Предвиделось безоблачное благополучие.

Усердные и трезвые труженики, не находившие приложения для своего труда в витебских местечках, нашли прочную и настоящую жизнь в Биробиджане.

Как вдруг в селе открылась лавка Госспирта. Это имело неожиданные последствия для артели. Из всех евреев пил только Иошка-Миллион. Выпив, он опьянел; опьянев, он еще выпил. Он нашел себе сердечных друзей среди местных пьяниц и без передышки стал пропивать артельные деньги. Одного он не успел пропить – своей феноменальной силы. Пьяный Иошка оказался буен. Он крушил все, что попадалось под руку, и никто не решался

подойти к нему. Члены артели спрятались в известковых пещерах. Милиция боялась показаться ему на глаза. С непривычки геркулес положительно взбесился от водки и кидался с ножом на окружающих.

И вот я слышал, как еврей-колонисты в Тихонькой многозначительно говорили по этому поводу:

– Н-наши еврейчики...

Это говорили убогие старые евреи, обремененные грыжами и нищетой; хилые, беспомощные люди, которые никогда не гнули подков и никогда не пили водки. Почему они считают Йошку-Миллиона своим и даже обобщают и говорят «наши» еврейчики? В какой мере он им «наш»? Разве они привыкли у себя, в голодающих местечках, часто видеть евреев-атлетов? Или им примелькался тип еврея-пьяницы, который безоглядно пропивает деньги и с ножом в руках наводит панику на окружающих? Думаю, что нет. А говорили они, между тем, с видом людей, которых похождения Йошки ничуть не удивляют. Они точно ничего иного и не ждали от «своих» евреев! С «их» евреями иначе и быть не могло!

Страх перед антисемитизмом все еще напряженно живет в еврее. Это он иногда заставляет евреев забегать вперед перед антисемитизмом и вкладывает в уста слова нелепых самоуничижений.

### 3. Взгляды Хаим-Мордки Пинтеля

Биробиджанский колонист Хаим-Мордко Пинтель, человек в брезентовом пальто и болотных сапогах, имеет свой взгляд на еврейский вопрос. Однажды, когда мы с ним тащились вторые сутки на телеге, прицепленной к трактору, и у меня с еще одним спутником зашел разговор на эту тему, гражданин Хаим-Мордко вставил свое замечание:

– А я вам говорю, что евреев уже нет.

Он сделал паузу.

– Вы не понимаете? Что такое еврей? Еврей – это, когда нет правожительства, когда городской, когда погром, когда черта оседлости, когда то нельзя, а это не можно, когда так не позволено, а так запрещено... Во! Вот это еврей и вот это еврейский вопрос. А теперь, когда нет городского и нет погрома, и я имею такие права, как другой, так нет еврейского вопроса, и кончено, и чтобы вы таки знали...

Лейзер Фридман, еврей с кадыком и в пенснэ на сухом хрящеватом носу, ехавший с нами, был не согласен с этим взглядом.

– Ка-ак?! – воскликнул он. – В местечках сидит, может, миллион евреев, что онидохнут с голоду за кусок хлеба, так вы говорите, что нет еврейского вопроса?! Дай бог всем моим врагам такую большую болячку, какой большой еврейский вопрос еще есть после правожительства.

Гражданин Хаим-Мордко Пинтель возразил:

– Это не еврейский вопрос, я вам говорю! Это вопрос за миллион бедняков, которые они бедняки, потому что они бывшие евреи. А возьмите дайте им работу, и уже кончено, и уже ша, и уже они опять не евреи.

Он пояснил на своем примере:

– Ось, скажем, я! Полгода тому назад я пропадал от голода, потому что я бывший еврей и жил в местечке, а местечко теперь не имеет чем жить. Но вот я получил наряд на Биробиджан, и приехал сюда, и увидел, что здесь будет жизнь, и остался работать. И вот я запахал и засеял, и пока оно зреет, я работаю с конем, я кошу сено, я строю дом. Так я говорю – ша, постойте, я вам уже не бывший еврей! Которые еще остались, – мои братья, отец, знакомые, – так они пока пропадают, и они таки бывшие евреи, а я нет, я не бывший, я уже будущий... Ого!.. Еще как!

Лейзер Фридман не совсем понял последние слова. Он вытянул шею вперед и вопросительно взглянул на Хаим-Мордку. Тот пояснил:

– Когда я соберу урожай и построю хату, так я буду человеком.

На этом, впрочем, не останавливалась теория Хаим-Мордки.

– Я вам так скажу, – продолжал он, – евреев нет, еврейского вопроса нет, и это чтоб вы знали. Но что есть? Есть антасамиты. Это есть люди, которые не присматриваются до нас, бо они и так видят, что хотят видеть, и всегда они нам готовы сделать поперек, и нам они не простят того, что другому простят, и они хотят сделать нас опять евреями. Только они не успеют, холера им в бок!..

## Предисловие в середине текста

Читатель ждал книги об евреях, но вот он уже пробрался через столько страниц и все читает про каких-то казаков, про охотников, про туземцев, про то, когда браконьеры стреляют изюбря, и почти ничего о евреях в тайге. Почему?

В марте 1928 года ЦИК Союза отвел для сплошной еврейской колонизации район на Дальнем Востоке, заключенный между Амуром и его притоками – Бирой и Биджаной: Биробиджан. § 5 постановления ЦИК гласит:

«При благоприятных результатах сплошного заселения означенного района трудящимися евреями иметь в виду возможность образования на территории указанного района еврейской национальной административно-территориальной единицы».

Это постановление ЦИК было откликом на все растущую потребность в земледельческих районах среди обломков разоренного местечка.

Евреи, осевшие на земле в Крыму и на Украине, успели зарекомендовать себя в качестве земледельцев. Новая жизнь на земле стала все больше и больше привлекать деклассированную и обездоленную еврейскую гольтьбу. Эта гольтьба осталась в бывшей «черте оседлости» без экономической базы.

Одновременно нарастает и другое явление в жизни СССР: становится все более и более очевидной невозможность дальнейшего пустования нашего Дальнего Востока под боком у перенаселенных империалистических держав.

Постановление ЦИК Союза намечало коренное разрешение сразу обеих этих важных задач.

Что представляет собой этот Биробиджан?

Он начинается у ст. Облучье Уссурийской дороги и идет почти вплотную до Хабаровска.

Общая площадь – около 4 млн. га. Из них около 2 млн. лесной площади, около 70 тысяч неудобной земли и около 2 млн. земли, пригодной для сельского хозяйства.

Около 60 % площади, именно западная, юго-западная и северная части заняты горными массивами Малого Хингана и его отрогами, а также отрогами Буреинских гор. Остальная часть представляет собой равнину – Амурскую низменность.

Климат в Биробиджане – здоровый. Весна, лето и осень – как на Украине. Зимой мороз доходит до 23 градусов. Однако, район защищен горами с севера, востока и запада. Поэтому здесь нет ветров, и мороз мягкий, не тяжелый и переносится легко. Обильные осадки выпадают лишь в июле-августе – сразу за весь год, а зимы малоснежны.

В 1928 г. населения было здесь 30 тысяч. Основное – амурские казаки. Кроме них – украинцы, корейцы, китайцы и отсталые народы – тунгусы, гольды, орочи и т. д.

Воротами Биробиджана считается ст. Тихонькая Уссурийской дороги. Это в 170 км от Хабаровска, ближе на запад. У Тихонькой проходит Бира, здесь же начинается находящаяся в очень скверном состоянии грунтовая дорога, идущая до самого Амура, протяжением в 150 км.

Проходит через район еще и печально знаменитая Амурская колесуха, построенная во времена царизма руками политических каторжан. Она идет от села Волочаевки до села Чурки. Здесь она поворачивает на северо-запад, пересекает Малый Хингал у села Радде и выходит на Амур.

Большая часть мостов, переброшенных через реки и речки, к 1928 г. или погибли от лесных пожаров, или были сорваны и унесены ливнями.

Амур судоходен на всем своем протяжении. Доступна для судоходства и Большая Бира от Тихонькой до устья—130 км – но судоходства здесь нет<sup>1</sup>. Река Биджана доступна только для плоскодонных судов, для сплава. Река Тунгуска, охватывающая район с севера и принимающая в себя целую систему диких и порожистых таежных речушек, судоходна на 70 км от впадения в Амур у Хабаровска до гольдяцких стойбищ.

Реки изобилуют рыбой. Ход кеты настолько значителен, что осенью она заполняет не только Амур на всем его двухтысячеверстном протяжении, но и все речки и речушки амурского бассейна переполняются рыбой.

Неисчислимы богатства Биробиджана видны простым глазом: они прежде всего заключаются в бесконечных лесных массивах.

Растут здесь драгоценные породы: дуб и кедр, и все виды хвойных, и черная береза, и дерево— бархат и т. п. Отсюда можно, при правильной эксплуатации, извлекать миллионы золота.

В лесах водится пушной зверь. Кроме медведя, кабана, косули, лося, изюбря, на которых ведется неорганизованная охота, главным образом, для мяса, край богат белкой. Заготовкой пушнины занимается большинство жителей горной части района.

Но еще большее богатство лежит в нетронутых недрах края.

В горах Малого Хингана залежи железной руды исчисляются, примерно, в 500 млн. тонн. Процент железа в руде достигает 70.

На реке Сутар работают семь золотых приисков.

Залежи графита исчисляются в 3 млн. 600 тыс. тонн.

В нескольких местах, в том числе и у самой железной дороги, отмечены выходы каменного угля.

Выходы известняков тянутся на 70 км вдоль железной дороги, а также на берегах Амура и Биджаны.

Вблизи ст. Биракан – курорт с горячими сернистыми источниками – Кульдур.

У ст. Лондоко и у Кульдура отмечены выходы мрамора.

В 1930 г. был присоединен к Биробиджану туземный Кур-Урмийский район, примыкающий к нему с севера. Этот район имеет площадь около 5 млн. га, а населения всего около 600 отсталых туземцев. Район представляет собой колоссальные лесные массивы, никем не эксплуатируемые.

Ничтожная кучка населения, забившегося где-то в тайге, не нарушает его пустынности.

Да и Биробиджан, в сущности, пустыня: его 30 тыс. жителей рассыпались на 240 населенных мест; в среднем приходится, значит, каких-нибудь 125 жителей на село. К тому же села эти охватывают район цепью, главным образом, вдоль Амура и по железной дороге. Цепь получается довольно жиденькая: Амур от Благовещенска до Хабаровска тянется на 1 000 км, из них, примерно, 600 км по биробиджанскому берегу. Да и железная дорога Уссурийская тянется по Биробиджану на 330 верст. Вот эти линии больших путей и заселены кое-как, а сердцевина края пустует. При старом режиме вдоль Амура сложилось несколько сравнительно больших станиц: Михайло-Семеновская—1 300 душ, Екатерино-Никольская— 2 000 душ. Тысячи три жителей есть и в городке Ин у железной дороги. Но таких больших центров в Биробиджане раз-два и обчелся. От Ина дальше в глубь страны идет пустыня, нетронутая глушь.

В известных кругах советской общественности, особенно, конечно, на так называемой «еврейской улице» биробиджанский план произвел огромное впечатление. Этому значительно содействовала еврейская печать. Биробиджан стали всячески расхваливать во всех отношениях и смыслах.

---

<sup>1</sup> В 1931 г. открылось судоходство по Бире. В. Ф.

Были и другие голоса. Тов. Ю. Ларин, например, отдал свой авторитет противникам биробиджанского плана. В журнале «На аграрном фронте» (1929 г. № 3) и в своей книге «Евреи в СССР» он подвергает самую идею Биробиджана жестокой критике. Разоблачая неправильность в подходе к делу, обнаружившуюся уже с первых шагов, т. Ю. Ларин ставит под сомнение не только возможность создания в Биробиджане «еврейского государства», но и самую нужность Биробиджана для еврейской массы и возможность быстрого освоения этой страны.

Тов. Ю. Ларин пишет<sup>2</sup>:

«Общая площадь биробиджанского района, закрепленная за Комзетом в 1928 г., составляет около 4 млн. га. Однако земель, пригодных в течение предстоящего десятилетия для приступа к сельскому хозяйству, даже при условии некоторой мелиорации, там во много раз меньше. При царизме старым переселенческим управлением, после некоторых обследований, Биробиджан признан был вообще почти непригодным для земледельческой колонизации».

«Биробиджан – с его вечно мерзлой подпочвой, заболоченностью, гнусом, наводнениями, длительными сорокаградусными морозами, культурной оторванностью, расстоянием свыше тысячи верст от моря, неизбежной экстенсивностью хозяйства, коротким растительным периодом при неблагоприятном распределении осадков по временам года и т. д. – вряд ли может оказаться вполне подходящим местом для такого людского материала, как впервые вообще переходящие к земледелию горожане», – говорит т. Ларин далее.

Тов. Ларин находит, что в СССР через 10 лет «вообще не хватит еврейского людского бедняцкого материала для дальнейшего поселения и в Биробиджане и где бы то ни было вообще». Указывая на «нездоровую шумиху, какая была поднята вокруг Биробиджана», тов. Ю. Ларин подчеркивает, что к заселению Биробиджана многие подошли не как к хозяйственной, а как к национальной задаче, – повторилась, в советских условиях, своего рода история с Угандой<sup>3</sup>.

«В 1928 г., – говорит он, – о Биробиджане в еврейских городах и местечках СССР делалось много докладов, писались статьи в еврейских газетах, распространялись иногда даже утопии о поселении в Биробиджане миллиона евреев и т. д. Доходило иногда до неуместной шумливой рекламы некоторых газетных корреспондентов, когда на практике дела шли плохо. На местах «оставить невыполненным наряд на Биробиджан казалось многим недопустимым, так как заселение его было понято чуть не как национальная обязанность советских евреев. Священной самоцелью сделалось обязательное заселение Биробиджана кем бы то ни было. Это есть своего рода сионизм наизнанку, поставивший Биробиджан вместо Палестины».

«Несомненно, – признает т. Ларин, – Биробиджан может постепенно дать обеспеченное существование большому количеству земледельческих переселенцев. Переселение туда, подготовка территории и устройство там хозяйства будет стоить, правда, значительно дороже, чем на Украине или в Крыму. Но поскольку государству желательно заселение этого края по общеполитическим соображениям, оно придет в этом отношении на помощь любым трудовым переселенцам на Дальний Восток, в том числе и еврейским в Биробиджан. Конечно, для этого переселение туда надо ставить не в порядке инсценировки на курьерских националистического блефа, а по-деловому: до приезда каждого переселенца год поработать над подготовкой для него площади, дома, пашни (подъем целины), дорог, медицинской помощи; разворачивать заселение района с той медлительностью, какая соответствует

---

<sup>2</sup> «Евреи и антисемитизм в СССР». ГИЗ, 1929, стр. 183.

<sup>3</sup> Уганда – большая, слабо населенная, дикая страна в отдаленных частях Африки. В 1904 г. еврейская буржуазия подняла большой шум вокруг мысли о переселении туда еврейской бедноты, но кроме шумихи ничего из этого не вышло.

имеющимся средствам, а не пытаться «на грош купить пятаков»; подходить к организации работ, исходя из соображений хозяйственной целесообразности, а не стремления сразу охватывать много пунктов для видимости охвата района и т. д. Все эти ошибки делались».

Выбор Биробиджана «был продиктован увлечениями еврейских работников, стремлением к «большей территории», а не серьезным изучением края, подобным, например, большой длительной экспедиции по изучению Приазовских плавней, богато обставленной научными силами и средствами. Над изучением небольшой площади плавней работали десятки научных работников более года, затрачено было более двухсот тысяч рублей. А выделению Биробиджана, площадь которого в несколько десятков раз больше, предшествовали кратковременный проезд края несколькими людьми и расход на изучение в несколько раз меньший».

В № 15 журнала «Трибуна» за 1929 г. были напечатаны ответы т. Ю. Ларину.

Заведующий бирским опытным полем агроном Л. Иозефович пишет:

«Биробиджанский район, представляющий площадь около 4 миллионов га, в значительной своей части не исследован (главным образом, таежно-горная часть и верховья речных систем). Нет сомнения, что освоение таежно-горных пространств в свое время будет связано с известными трудностями и, возможно, сложными мелиорациями. Но многочисленные площади, представляющие плоскостные междувалистые пространства, а также пологие склоны увалов вполне пригодны для земледелия или без всяких гидро-технических мелиораций, или потребуют только раскорчевки. Для освоения всех этих земель ни осушительных, ни тем более оросительных магистралей не требуется. В некоторых случаях проводят самые обыкновенные нагорные каналы для отвода стекающей с сопков воды.

Заболоченности в том виде, как она представлена в Полесье или даже на Приазовских плавнях, здесь не имеется. Как самый процесс заболачивания, так и ликвидация его здесь неизмеримо проще, чем на тростниковых Приазовских плавнях.

Далее, о «вечно мерзлой подпочве». В землях, осваиваемых в настоящее время под полеводство, не встречалось еще ни одного участка, где бы имелась отрицательная температура на какой-либо глубине почвы непрерывно в течение всего лета».

«Крестьяне Биробиджанского района, – говорит Л. Иозефович далее, – с их примитивной техникой земледелия в самые плохие годы получали урожаи, не меньшие обычных средних европейских. 1928 сельскохозяйственный год был крайне неблагоприятен как для крымских земледельцев, так и для биробиджанских; для первых благодаря засухе, для вторых благодаря сильно мочливому лету (засух здесь не бывает). Однако в то время, когда в Крыму крестьяне не собрали никакого урожая, здешние крестьяне собирали до 0,5 тонны пшеницы с гектара. Здесь понятия не имеют о сплошных неурожаях, к чему так привыкли на юге и юго-востоке.

«Неблагоприятное распределение осадков» не есть специфическое свойство Биробиджана. Еще более неблагоприятно оно на Украине, в Крыму, Нижнем Поволжье и других хлеботородных районах, так как в этих районах неблагоприятность их вызывается еще и недостатком осадков, здесь же общее годовое количество осадков вполне достаточно для нормальных урожаев.

О «краткости вегетационного периода» и сумме тепла также можно не беспокоиться, если здесь вполне вызревают такие культуры, как рис, соя, клецелина и др.

Несколько слов о «неизбежной экстенсивности хозяйства». Такое заключение основано на недоразумении. В районе, где вполне возможна культура риса, сои, клецелины, сахарной свеклы и других трудоемких культур, можно с полным правом сомневаться за судьбу пшеницы, хотя она и дает здесь хорошие урожаи. Примером высоко интенсивных форм хозяйства могут служить имеющиеся здесь корейские хозяйства.

Вопрос о «гносе» в Биробиджане, выделяемый очень часто чуть ли не как специфическое местное бедствие, мне, издавшему и испытывавшему «гнос» Приазовских плавней, кажется значительно утрированным. Как там, так и здесь единственный

радикальный способ бесследного уничтожения «гноса» – это ежегодное увеличение площади распашки и освоения земель. К положительным сторонам биробиджанского «гноса» надо отнести то, что он не сопровождается малярией, чего нельзя сказать про «гнос» Приазовских плавней».

Директор Дальне-Восточного краевого научно-исследовательского института проф. В. М. Савич также высказывается по поводу вопросов, затронутых т. Ю. Лариным. Он говорит:

«Ссылка Ю. Ларина на то, что старое Переселенческое управление признало Биробиджан вообще непригодным для земледельческой колонизации, не может теперь иметь значения, так как в довоенный период охватывались наиболее легко осваиваемые территории, имелись еще большие просторы, а сама колонизация в значительной степени базировалась на так называемых интендантских культурах.

Картина сельского хозяйства Д. В. в последнем десятилетии резко изменилась в сторону развития риса и манджурских культур, и, например, многие земли, считавшиеся пригодными только для сенокосения, оказались ценнейшими для рисосеяния.

Среди пригодных для земледелия частей Дальнего Востока Биробиджан занимает несомненно одно из лучших мест, и по своим природным условиям он во многих отношениях напоминает некоторые (далеко не безнадежные) части С. Америки. Между прочим, по целому ряду естественно-исторических условий у Биробиджана есть сходство с ближайшими к Нью-Йорку районами, которые дали приют более чем миллионному еврейскому (и в некоторой части земледельческому) населению.

Конечно, явления наводнений, о которых упоминает Ю. Ларин, весьма типичны для муссонного климата Д. Востока. Но разве их нет и в соседней стране – Японии – с ее культурными долинами или в других горных странах?

Дальний Восток и, в частности, Биробиджан, несмотря на зимние морозы, летний гнус и пр. ужасы, имеет и целый ряд преимуществ. Здешнее земледелие почти не знает засухи, здесь возможны ценные культуры: табака, риса и пр., которые удаются далеко не везде. Здесь кореец или китаец на небольшом клочке земли – около гектара – кормит всю свою семью.

Итак, агрономическая ценность Биробиджана и Д. Востока вообще выявлена жизнью, и нет вопроса – гиблое ли это место или желанный простор новой земли. Весь вопрос сводится только к тому: кто будет обладателем этих несомненно ценных земель?

Решая этот вопрос, в частности, по отношению к еврейскому населению, которое ранее было чуждо земледелию, мы подойдем к нему с той осторожностью, как и Ю. Ларин.

Нельзя скрывать того, что Д. Восток при всех его прекрасных задатках и колоссальных возможностях использования производительных сил является (как когда-то являлась Америка) страной, трудной для освоения.

Разве не такую же дикую и во многих случаях заболоченную страну, покрытую лесами, встретили пионеры заселения Америки? Но туда шел исключительно предприимчивый и сильный элемент, который вел упорную борьбу с природой, и тем не менее С. Америка долго была бедной землей, несмотря на то, что туда переселялся часто опытный европейский земледелец.

Вместе с Ю. Лариным мы считаем, что без крупных вложений на мелиоративные, дорожные и пр. работы Биробиджан и вообще Д. Восток не могут дать приют массовому еврейскому населению».

Однако покауда длились разногласия, заселение Биробиджана евреями было все-таки начато. Разрешить спор предложено было беспристрастному третьему лицу, которое именуется жизнью, она же – история. Вот кто должен был ответить на бесчисленное множество вопросов, из которых два основных можно в общем формулировать так:

1) Годится ли Биробиджан вообще для заселения? Будет ли его девственная природа так же неподатлива в отношении новых колонизаторов, как она была доселе в отношении прежних?

2) Годятся ли для заселения Биробиджана городские жители и, в частности или в

особенности, – евреи?

В какой же мере могут быть экспертами по этим вопросам все те люди, которых автор вывел на первых страницах книги? Что могут сказать отсталые туземцы или культурно дефективные казаки по вопросу о перспективах еврейской колонизации в Биробиджане? Зачем автор позвал сюда Богатова, Максимова, Мишку-Муху, деда Онисима и столько других? При чем они здесь?

Но автор их и не звал. Они пришли сами – и по очень важному делу. Они знают, что автор – журналист, что он обращается не к художественным эмоциям, а к общественному мнению с непосредственными организационными задачами, и в такой момент, Когда кто-то, – им безразлично кто, – собирается заводить в их тайге новую жизнь. Они очень рады. Они уже слыхали, что на Дальнем Западе появились новые люди, которые умеют делать трудные дела. Поэтому, как местные старожилы, они и хотят сказать им несколько слов.

Автор считает, что эти несколько слов должны быть учтены во всякой работе о Биробиджане.

История нашего Дальнего Востока, в отличие от истории мидян, не знает никаких туманов. Истоки бытия крупных человеческих коллективов теряются в глубине веков. В них теперь трудно разобраться, их трудно регулировать.

Но молодой Дальний Восток не имеет вчерашнего дня. Никаких туманов. Все ясно, как стеклышко. В это стеклышко еще видно, как сложился Дальний Восток. Рядом с каждым явлением быта здесь еще видна организационная причина этого явления. Еще живы свидетели того, как строили Дальний Восток, ибо Дальний Восток не построился стихийно, неизвестно как, когда и почему, – а его искусственно начали строить 70 лет тому назад.

Все ясно, как стеклышко. И более всего ясна тяжелая бездарность буржуазно-помещичьего государства и людей, которые строили Дальний Восток. Они строили на гладком месте. Природа честно внесла свой пай – неисчислимы богатства. Здесь давно можно было создать громадное культурное государство, но не создано ничего.

Почему? Как это случилось? Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что этот богатый край почти пустынен и что немногие люди, которые там живут, почти ничего не значат на счетах культурного человечества?

В «Русской Старине» за 1879 г. напечатаны интересные воспоминания Венюкова о первых попытках заселить Амур в 1858 г. Автор служил при Муравьеве-Амурском, много видел и много знает. Он с горечью указывает основную причину неудачи колонизации: государство не позаботилась ни об устройстве дорог, ни об установлении регулярной, связи между поселками. «Вот почему амурская колонизация не вышла такой, как можно было бы ожидать по естественным богатствам страны», – говорит Венюков и прибавляет – «государство основывало колонии; и с первого же дня разоряло их своей неорганизованностью».

Вот оно самое главное, – помимо того общеизвестного, что было свойственно старому режиму во всех его делах и начинаниях.

Колонизация велась без организованности. Людей рассыпали без плана горсточками по тайге, не подготовив ее к приему оседлого населения, даже не проложив основных дорог.

Мудрено ли, что одни разбежались, другие дичали?

Так было в 1858 году. Колонизация без дорог и связи была очевидной бестолковщиной уже и для той эпохи.

Но вот прошло полвека. Государство увидело, что казачья колонизация ровно ничего не дала. Край оставался пустынным, земля лежала дикая, естественные богатства не разрабатывались, и даже военного охранения не получилось: когда в начале нынешнего столетия побережье стало подвергаться набегам хунхузов, казаки телеграфно потребовали у губернатора, чтобы им была выслана защита: дружина Ермака выродилась в порядочных лодырей. Губернатор Унтербергер вышел из себя. Он справедливо ответил, что не затем власти держат и кормят на границе казаков, чтобы при первой нужде посылать на их защиту

солдат.

Стало ясно, что надо колонизировать край наново. Для этого был выделен, в первую очередь, участок, омываемый Амуром и его притоками – Бирой и Биджаной, «Биджано-Бирский район», как его тогда именовали.

В 1913 году сюда стали свозить переселенцев, – на сей раз крестьян из Украины.

Однако с замечательным тупоумием была снова повторена основная ошибка 1858 года: переселенцев опять разбросали горсточками среди тайги и болот, не обеспечив их жилищем: и не связав дорогами... Переселенцы убедились в пышных богатствах здешней природы; однако воспользоваться ими не могли и вскорости благополучно бежали. Благо, в 1913–1914 гг. уже не принято было пороть.

И вот прошло еще пятнадцать лет. Попрежнему глухо гудит тайга, попрежнему мокнут болота. В крае, где почва родит все, начиная от овса до суходольного риса и сои, немногие имеющиеся хлебобобы упрямо сеют только пшеницу, да и то мало; при широкой возможности культурного садоводства, здесь даже в городах не достать ничего, кроме дикого винограда и голубицы; на полях, созданных самой природой для огородничества, даже и картошки сажают мало; источники целебной минеральной воды приводят в движение примитивные крестьянские мельницы; графит, охра, железо, уголь, золото лежат в недрах земли, перекрытые медвежьими берлогами. Пышный край остается пустынным, плотность населения равняется 1 человеку на 1 км<sup>2</sup>.

Вот почему теперь, едва появляются новые колонизаторы, как и здешние люди и чуть ли не сама тайга торопятся видеть их в первую очередь, чтобы сказать:

– Вот! Смотрите на наше пышное убожество, на наше бескультурье, и учитесь, как не надо колонизировать! Не завозите сюда ваших людей без подготовки местности, без ее изучения, без строго продуманного и хорошо взвешенного плана! Если и вы раньше привезете людей, а лишь потом станете думать, что с ними делать, куда их здесь в тайге девать, то и у вас ничего не выйдет, как не вышло ничего у ваших предшественников. Если вы повторите их ошибки, вы получите их результаты!

Суровое предостережение, но за него надо благодарить. Ошибка, когда ее повторяют, становится преступлением.

Сделав свое предостережение, действующие лица первых глав считают свою задачу выполненной. Она была серьезна. Без особой надобности они не будут отвлекать читателя от основных вопросов книги.

## Рыба-фиш

Хаим-Мордко Пинтель уверял, что евреев вообще уже нет, что остались одни только бывшие евреи. Пчеловод из-под Хабаровска держался иных взглядов.

В вагоне, между Тихонькой и Волочаевкой, за перегородкой кто-то неторопливо гудел архиерейским басом:

– Ведь вот, вы говорите – евреи... А никогда вам евреи не сварят стерляжью уху как следует.

Говоривший откусил с треском кусок сахара и, хлебая чай, продолжал:

– Я вам как пчеловод скажу... Стерляжью уху надо варить как? Надобно наловить ершей, отварить из тех ершей уху, и чтоб на медленном огне, чтоб хорошо уварилась. А потом, когда разварятся ерши окончательно, – их тогда д-долой, уху отцедить через тряпочку, а в этой, в ершовой ухе только тогда и варить стерлядь.

Бас говорил медленно, с расстановкой, очень наставительно. Можно было даже, сидя за стенкой, представить себе его жесты.

Выдержав паузу, он воскликнул:

– Ну, а теперь взять евреев... Я, боже упаси, не антисемит. Но евреи!.. Ну, подумайте сами! Евреи – это рыба-фиш. Им щуку подай, да потяжеле, да закатай в нее перцу побольше, да нафаршируй ее...

В голосе было пренебрежение, но, правда, снисходительное. Бас даже спохватился:  
– Грешно сказать, – ведь и щука по-еврейски– т-то-о-оже бывает, знаете, зн-наменитая!  
Иная тебе евреечка такую щуку заправит, что, конечно, пальцы оближешь... Но это – где?  
Это – на Украине.

Бас опустил до полушопота, но тотчас опять повысил голос:

– А в наших местах – это вам не Украина. Здесь рыбу-фиш и не жди. Здесь... здесь...

Он подыскивал слова. Нашел:

– Здесь евреям придется круто... Куда им со здешней жизнью управиться? Это я вам как пчеловод скажу.

Собеседник баса, доселе молчавший, сказал жидким тенорком:

– Они, евреи, до щуки мастера, потому что щуку – сходил на базар и купил. А здесь тебе, в Биробиджане, на базар не сходишь и рыбы не купишь. Либо сам налови, либо так сиди... А уж наловить...

Последней фразы он не закончил: и так понятно, что ловить рыбу в диких таежных реках – не еврейское дело.

Тенор высказался далее в том смысле, что никогда евреи, как племя слабое, не удержатся в Биробиджане.

Пчеловод, густо кашляя, соглашался с этим взглядом.

Разговор происходил в вагоне поезда, шедшего в Хабаровск. Я слушал его внимательно. Меня всегда интересует, что думают пчеловоды о разных сторонах еврейской жизни. Но мне надо было сойти на станции Волочаевка, – я ехал в еврейскую коммуну Икор.

На вокзале почти никого не было. Стояли двое железнодорожников и с ними молодой мордастый казак, рослый, крепкий. Одет он был в ладную поддевку, а из-под шапки-кубанки, выбиваясь на самое ухо, висел клоч тяжелых и лихих кудрей.

Я рассчитывал, что на станции будет кто-нибудь из Икора.

– Да вот ведь он из Икора! – сказал железнодорожник, указывая на мордастого казака.

Мордастый, действительно, был член коммуны «Икор», еврейский парень из-под Минска. Он приехал в Биробиджан в мае прошлого года и провел здесь первый и самый мучительный период колонизации, когда разбежались все, а оставались только фанатики. Он остался, перенес дожди, наводнение, гнус, голод, падеж скота, морозы, развал, деморализацию и склоку. И вот у него налились щеки здоровьем, которое можно взять руками, и над ухом раскачиваются кудри.

Коммуна Икор состоит из 16 молодых парней. Они все переехали из Белоруссии, из жалких местечек, в которых люди в течение ряда поколений промышляли нищетой. Если бы не революция, эти парни, пожалуй, все сидели бы сегодня в еши-ботах и зубрили казуистику талмуда:

«На огне стоял горшок из-под молока, и в горшке кипятилась вода, и горшок лопнул, и вода выбежала и подмочила другой горшок, в котором варили мясную пищу. Спрашивается, можно ли продолжать варить в нем мясо или его кошерность нарушилась и горшок не годится, потому что произошло смешение мясного с молочным?»

Поколения толкователей изнурили себя над такими вопросами. «Раби Шамай держался взгляда, прямо противоположного взгляду раби Гилеля». Давно умерли великие талмудисты, но над их наследством еще немало корпит еврейское юношество Польши и Румынии. Да и отцы икоровских юношей, голодные бедняки, которых царская Россия держала вне труда, вероятно, все поголовно имели схоластический геморой и безнадежные грыжи от тяжелой средневековой мудрости.

Парень подбадривал лошадку кнутом, а на топких местах обращался к ней с крепким словом. Рядом с нами бежали рельсы и поезд просвистел, грохоча на великий Запад. Позади, чуть в стороне от дороги, на вершине одинокой сопки стоит здание причудливой архитектуры, а на крыше – громадная каменная фигура красноармейца с винтовкой.

– Говорят, здесь, ух, какие бои были в двадцатом году, – сказал парень. – А это – памятник... Здесь им наши показали...

Я уже знал, что волочаевская сопка скрывает братскую могилу красноармейцев, погибших в одном из самых решительных боев с белыми. За Дальний Восток шли большие торги. Революция заплатила за него дорого. Враги давали еще дороже. В 1920 году, десять лет тому назад, моему колхознику было лет восемь-девять. Он не понимал еще ничего. А в ту октябрьскую ночь в 1917 году ему было лет пять-шесть. Он носил штаны с разрезом спереди и с разрезом сзади, и из обоих разрезов торчали флаги сомнительно-белого цвета.

Парень – член правления коммуны. Он рассказал мне кое-что об ее делах.

Икоровцы, как приехали в Биробиджан все вместе, в мае 1928 года, по первому зову Озета, так и до сих пор держатся все вместе. Раньше они жили на Степном, а в апреле этого года их перебросили сюда, на Волочаевку. Здесь было отделение опытной станции и ликвидировалось. Остались постройки и две тысячи гектаров земли.

– Но биробиджанские тысячи гектаров знаете, что такое?

В Биробиджане лежит около четырех миллионов гектаров. Специалисты клянутся, что каждый клочок земли здесь сулит благоденствие тому, кто за него возьмется с умом. Но людей с умом Биробиджан ожидает от самого сотворения мира, а пока что терпеливо мокнут болота и угрюмо гудит тайга.

– Мы получили две тысячи гектаров земли. Из них распаханых, да и то запущенных, было тридцать три. Мы еще подняли семнадцать гектаров целины. Вот и засеяли пятьдесят. Больше не успели. Поздно нас сюда перебросили.

– Ну, и что? Плохо?

– Зачем плохо? – возразил парень. – Мы живем хорошо. Жить здесь можно. Вот приезжайте в будущем году, посмотрите, что тут будет твориться.

Мы ехали лесо-степью, – пейзаж однообразный и типичный для этого района Биробиджана. Была осень. Трава была скошена. Тянется равнина, похожая на небритую бороду, и больше ничего. А там, вдалеке, лесок...

На дороге показалось стадо коров. Их гнали двое парней в высоких сапожищах, с котомочками за спинами.

– Во! Это наши, – сказал возница. – Завхоз и секретарь. Это они подаются на Хабаровск, – там завтра открывается съезд колхозов, и заодно коров продадут.

Я очень не люблю слышать, что вот, мол, переселенец продает корову.

Мы поровнялись с погонщиками стада и остановились знакомиться.

– Коров этих мы решили продать кооперации на убой. А себе купим более удобных. Когда подбираешь стадо, надо выровнять породу.

Парни – завхоз и секретарь – стояли по колени в грязи, широко расставив ноги и улыбаясь. Кожаные куртки были на них распахнуты и сорочки тоже. У завхоза грудь была раскрыта. Она была здоровенная, обветренная и широкая, как плита. Парни простовато улыбались, рассматривая мой фотографический аппаратик и бинокль. Это были крестьяне, мужики, и самые обыкновенные мужики, – только с еврейскими носами. В них было что-то неуклюжее, и что-то неуловимое придавало им несколько комический вид. Может быть котомочки с харчами, которые на конце палок были переброшены через плечи, а быть может и то, что, стоя по колени в топи, они и не замечали этого, увлекшись моим аппаратом.

Выглянуло солнце. Оно улыбнулось парням в глаза, перебежало к рыжим коровам и устроилось в перелеске, где пурпуром играли заросли дикого винограда и калины.

– Бувайте здоровы!..

Шестнадцать местечковых мальчуганов получили обычную переселенческую ссуду и кредит от Сельского банка Дальнего Востока. Получили в конце апреля, успели немного вспахать, засеять и организовать молочную ферму. Но хозяйственная неудача этого года была катастрофической.

– Понимаете? – надо было сеять на рёлках, а мы сеяли на пади. А летом дожди ударили чисто как из ружья. Два года подряд дожди идут небывалые, и низины затоплены. А мы как раз на низине и сеяли. Пшеницы пять гектаров вымокло, овса девять – вымокло, гречихи пять – вымокло, сои полгектара – вымокло, огород вымок весь. Сено вымокло – две тысячи

пудов.

Мне сделалось уныло от этого перечисления. Все вымокло!.. Что тут поделаешь с таким «еврейским счастьем»?

Среди разговоров мы подъехали к самой коммуне. Это несколько деревянных построек, раскиданных с российской безалаберностью на громадной площадке. Равнина здесь, как тарелка. Конный пастух, сдавив ногами бока высоченной пегой лошади, сгонял стадо к коровнику. А коровы мычали, взбираясь по мосткам в коровник: коровы степенно шли доиться. Это были те самые коровы, благодаря которым в этом году, когда почти все посева так глупо вымокли, продержалось хозяйство коммуны.

Коммуна сдает Дальсельсоюзу сливки, получая за литр сливок стоимость семи литров молока.

Но тут начинается игра ума.

– Не смотрите, что коровы малорослые. Зато молочные. Они дают литр сливок из пяти литров молока.

Кроме того, при выделке сливок остается творог, который съедается, а остатки продаются на сторону. Остается еще и отгон. Он идет на выкормку свиней.

Икоровцы купили у соседа-крестьянина несколько молочных поросят. Для опыта стали их кормить отгоном. Теперь поросята, оставшиеся у крестьянина, не достигают и по брюхо своим братцам, которые попали в еврейскую коммуну. Те живут по расейской рутине: их кормят помоями, и хозяин зарежет их под рождество. Одних он пропьет, другими закусит. А минские молодые коммунары готовят бэконных экспортных свиней, ценный товар, за который рассчитывают получить сельскохозяйственную машину.

Я помогал перетаскивать ведра с отгоном. Теплый запах вырвался из кухни, прошел через коровник и сразу ударил в носы тучному, мясистому, розовому племени иоркширов, которое уже нетерпеливо возилось у двери. С визгом и гомоном бросились они к нам. Боров, почтенный, крутой иоркшир, тяжело мотая розовым рылом, все норовит поест отгону вне очереди да побольше.

– Это – наша чистая прибыль, эти свиньи, – сказал кто-то из парней и добавил – И сад тоже!

Фруктовый сад, который заложили минские мальчуганы, имеет всего около гектара. Замечателен он, однако, следующими двумя приметами: он первый по величине и хронологически тоже первый культурный фруктовый сад в Биробиджане.

Уже давно теоретически известна плодородность приамурской почвы. Но едят здесь дикий виноград, лесную ягоду голубицу да дикое таежное яблоко величиной со смородину. Сад построили все в счет тех же полученных кредитов, а, главное, все на те же доходы от молочного хозяйства. Других доходов не было:

– Нас же затопило!..

– Как вернется завхоз из города, – так сейчас айда в Сибирь за скотом: удваиваем стадо.

– Конечно, – заметил председатель, – мы имеем успех потому, что сразу попали в хорошие условия: дорога сносная и недалекая, и готовые дома. А кто попадает в другие районы, как бывает – за восемьдесят километров от станции, и там только тайга и ничего не приготовлено, – тем, конечно, плохо.

Я знаю, как плохо тем, кого безрассудство переселенческих планов забросило небольшими кучками в 5–6 семей за 80 километров от железной дороги, в тайгу и за болота. Что они там успеют? В какой мере и когда смогут они овладеть этой дикой, но волшебной страной?

Успех Икора, даже то, что Икору удалось спасти от наводнения, – маленький кристалл той драгоценной породы, которая называется Биробиджаном.

Позвали обедать.

Вот как питается коммуна в этот тяжелый год: утром едят свои сливки с творогом, мед со своей пасеки, на обед – телятину с картошкой. На ужин подали довольно вкусную рыбу. Это была кета, очень распространенная на Дальнем Востоке. Насчет телятины меня

предупредили, что она «своя», от своих коров приплод. А насчет кеты не сказали. Я решил, – покупная. Значит, пчеловод с басом даром тревожился насчет рыбы-фиш: хоть кета, конечно, не щука с перцем, но евреи, повидимому, умеют есть и кету.

На стол все подается в неограниченных количествах, не по аппетиту местечка, а по аппетиту амурских казаков. Мой возница, парень с чубом, показывал катастрофические номера в еде: он точно отъедался за всех своих предков, которые голодали в местечке.

Уписывая вторую миску телятины с картошкой, он только раз обмолвился замечанием:

– Эх! – со вздохом сказал он. – Обида! Капусту подмочило и огурки. А то б сюда кислой капусты миску и огуркй...

Это был прирожденный едок, едок по призванию.

Вечером, в темноте, у скирды, женский голос шептал по-украински:

– Шмулик, серденько!.. Та не ходи до нас у Дежневку, бо воны тоби вси печенки повидбивають...

В коммуне, если не считать стряпухи-казачки, нет женщин.

– Нас так и зовут – еврейский монастырь, – сказал мне один колхозник.

Правда, когда я стал расспрашивать, кто и почему дал им такое прозвание, то святость стала понемногу отваливаться.

– Из Дежневки парни...

– Ну!..

– Ну, из Дежневки украинские парни старожильческие так прозвали...

Прозвание дано на почве антирелигиозной пропаганды за то, что икоровцы ведут себя в отношении дежневских девчат вполне как те монахи, которых описывает журнал «Безбожник».

– Чтoб мы до их девчат не ходили, бо мы ходили до их девчат...

Я делал записи.

Вдруг из соседней комнаты донесся шум. Она вся заполнилась шумом. Захлебывалась гармошка. Кто-то тяжелыми ногами выстукивал под гармонь на известный мотив:

И-эх, сыпь, Семен,  
И подсыпай, Семен.

Раздался женский визг:

– И-и-и...

Визг был пронзителен, как зов на помощь. Однако было в нем и что-то, из чего всякому было ясно, что побежать на помощь было бы величайшим свинством.

– Это дежневские девчата пришли, – пояснил колхозник, сидевший со мной. – Теперь они уже до нас ходят.

Женский голос выщелкивал.

И-эх, и чай пила,  
Самоварэничала...  
Щи варила, перьварила,  
Накухарэничала...

И опять визг, и гармонь, и топот тяжелых кованых сапог. Это топали бывшие худосочные мальчики из еврейских местечек, ставшие пастухами на Амуре.

Сыпь, Семен,  
Да подсыпай, Семен...

Я вышел во двор. Была прохладная ночь. Поезд просвистел с Запада, с родины Великой революции.

Рано утром я уезжал. Меня накормили за завтраком свежайшей кетовой икрой.

Это тоже было – свое.

В нескольких километрах отсюда протекает река Тунгуска, впадающая в Амур. Дикая река. Живут там гольды, народ первобытный, – бьет зверя и ловит рыбу. Летом, когда кета пошла из океана и появилась в притоках Амура, мальчишки из белорусских местечек, рядом с гольдами ловили кету на стремнинах дикой Тунгуски. Подхватывая рыбу под жабры, они, как гольды, крепким ударом ножа вскрывали ей брюхо и вынимали душистую и вкусную икру.

## Иом-Кипур

В этом году праздник судного дня, Иом Кипур, приходился на понедельник. А на воскресенье, накануне судного дня. По всему Биробиджану был назначен воскресник в пользу постройки самолета «Биробиджан».

Я находился в поселке при станции Тихонькая. Оттуда километрах в десяти есть в тайге еврейский поселок Вальдгейм. В воскресенье я решил выехать туда. Я думал приехать пораньше, сделать несколько снимков воскресника: предполагалась корчовка леса. Но рано выехать не пришлось: озетовские агрономы в Тихонькой готовили к завтраму стенную газету, посвященную начинавшейся неделе коллективизации, и просили меня отвезти ее. Я не мог отказаться от чести быть первым газетчиком, который привез в тайгу, в самую тайгу, первый номер стенной газеты. Но пришлось ждать, и я выехал лишь часов в пять дня.

Я приехал в Вальдгейм поздно, в такой час, когда воскресники уже окончены, а порядочные люди, – там, где они есть, – уже возвратились из синагоги.

Группа прохожих шарахнулась от меня в испуге: я появился из темноты неожиданно, верхом на громадной белой лошади, с громадным рулоном в руках. Мне указали дом, где я должен был сдать стенгазету. Едва соскочив с коня, я был подхвачен знакомыми колонистами.

– Ну, чуть не опоздали! Идем скорей!

Мне даже не сказали, куда меня тащат.

Мы пошли, шлепая по грязи, и вошли в какой-то дом. Тускло горела керосиновая коптилочка. По углам лежали большие тени. Вокруг стола сидело несколько евреев. Они сидели в позе спокойного ожидания, в них было даже что-то торжесвенное. Они сидели, отвалившись на спинки и раскинув ноги.

– Вот! Вот теперь будет миньон! – раздались возгласы при нашем появлении. – Вас прислал бог. Мы уже думали, что не состоится молитва. Тут шестьдесят евреев в Вальдгейме, и нельзя собрать миньон.

Их было человек десять. Они собрались молиться по случаю кануна Иом Кипура, петь Кол-Нидрэ. Для этого нужен миньон, т. е. не меньше десяти человек. Нехватало одного, и молитва не могла состояться. Я оказался, повидимому, тем десятым, который нужен был, чтобы своим присутствием придать молитве достаточную солидность. Мне было любопытно. Я решил остаться. Евреи быстро встали, повернулись лицом к востоку и взялись за свои талесы. Они накинули их на головы, бормоча слова каббалистических заклинаний: «Так да облечутся душа моя, 248 членов моих и 365 жил моих светом заповеди о нитях видения, которая равнозначит 613 заповедям». Не знаю, что это значит.

Талесы у евреев старые, рваные, в заплатках. Кто знает, – быть может, они и погромы видали, эти полосатые покрывала, которые живут столько тысячелетий и даже до тайги добрались.

Это были пока только приготовления. Хозяйка суетливо расчищала место для молящихся, – она отодвигала стулья, убирала лежавшие на них вещи – какие-то подушки, перины. Когда приготовления были окончены, на стол положили молитвенник, и один из евреев взял на себя роль священнослужителя. Он стал громким голосом и нараспев читать молитву насчет «сынов праха, пребывающих во тьме и тени смертной», а также насчет

«безрассудных, которые страдают за незаконный путь свой и за грехи свои». Я и сам был вполне подходящий объект для такой молитвы: путь мой порядочно незаконен, и за грехи свои я тоже перехватил немало.

Я смотрел по сторонам. Изба была ничего-себе изба, вполне просторная и крепкая, сложенная нето из лиственницы, него из кедра.

В апреле этого года кучка евреев вышла из Тихонькой и пошла степью, лесом, болотом, опять степью и болотом и пришла в тайгу. Туг был намечен участок для постройки села. Евреи стали рубить гигантские деревья, которые никогда не слышали шороха человеческих шагов. Они вырубали деревья, выжгли лианы и молодняк и стали строить дома. В тайге, где еще вчера только звери строили свои берлоги, евреи построили сорок человеческих домов. Эти дома стоят в два ряда, образуя правильную линию, первую правильную на этой земле, с тех пор как эта земля существует.

Молившиеся были одеты по-праздничному. Один был в пальто, потому что у него нет приличного костюма. Другой был в пиджаке, но без воротника и галстука. Третий был просто в чистой рубашке. У того, который исполнял обязанности священнослужителя, висела на животе через весь живот цепка для часов. Она была медная, но блестела прямо как золотая. Он был портной из Одессы, с Молдаванки, – я узнал это впоследствии. У него была тощая фигура и впалый живот. Он пел молитвы фальцетом. На высоких нотах он вытягивался на носки и выводил трели, нажимая себе большим пальцем на кадык, как это делают в местечковых синагогах бродячие канторы.

В углу, в стороне сидела молодая девушка в красном платочке. Она сидела в сторонке, а когда молитва развернулась, она встала и вышла: ей нечего здесь делать. Ей вообще не нужно десяти евреев в летах. С нее вполне довольно одного молодого. Молодой ждал под окном и делал знаки. Я видел, как они пошли в лесок; я тоже думаю, что там лучше можно поговорить.

Евреи в Вальдгейме выкорчевали за летний сезон сто шестьдесят пять гектаров тайги. В это воскресенье они успели выкорчевать для аэроплана «Биробиджан» один гектар. Корчевание идет вручную. Те девять, которые стояли нахохлившись под талесами и раскачивались, тоже целый день проработали корчевальными топорами.

«Слушай, Израиль! Господь бог наш есть господь единый! Он бог наш, он отец наш, он царь наш, он освободитель наш».

Евреи приехали в Вальдгейм весной. Они подошли к тайге, которая гудела, и дохнули на нее горячим дыханием людей, которые хотят жить и трудиться. Они приехали за десять тысяч километров, из голодных местечек, из бывшей черты их оседлости, которая осталась чертой их нищеты; они одолели традиции поколений, и расстояние, и тайгу, и построили себе селение, и живут, и корчуют старые пни, и обрабатывают землю. Слушай это, Израиль! И не-Израиль тоже слушай хорошенько!..

В углу стояли два дробовика, примерно, двадцатого калибра. Здесь, на Амуре, у всех этот калибр, а я его не люблю: слишком, все-таки, мелкий.

Кантор смолк и закрыл книгу. Молящиеся стали складывать талесы и шаркать стульями. Молитва кончилась.

Кантор подошел ко мне, спросил, кто я и по какому делу явился. Мне не дали ответить. Знакомый колонист, изрядный шлопай, пришедший в эту минуту звать меня ужинать, сказал:

– Этот человек приехал на белой лошади, как сказано о Мессии. У него даже была в руках большая труба. Потребуйте у него документы– и вы узнаете новости.

Это рассмешило не всех. Кантор с Молдаванки сказал:

– Пусть этот человек не Мессия. Но он приехал на белом коне как раз во-время и принес нам благу весть.

Его талес был сложен, и он протянул мне длинную костлявую руку. Не сгибая пальцев, он потер своей ладонью о мою и сказал:

– С приездом!.. Вы принесли нам...

Шелопай перебил:

– Он принес нам стенгазету, и вы там завтра прочтаете за таких опиумов, как вы!..

Он бросил на него взгляд, полный неподражаемой насмешки, повернулся на каблуках и вышел.

На следующий день был Иом Кипур, судный, день, день поста и молитвы.

В этот день на небесах, в закрытом заседании, без участия сторон, слушаются дела о земном поведении сынов Израиля.

Многие из них чувствуют себя погано. Они постятся, молятся, клянутся, что больше не будут, и суетливо бегают по синагогам и молельням, – там кулуары небесного суда, – все-таки ближе.

Мне хотелось знать, состоится ли молитва и сколько соберется народу. Но такие вещи надо подсматривать из-под шапки-невидимки. А то вот появился я на селе с аппаратом, и все стали приставать ко мне:

– Снимите нас на корчовке!..

Бывшие портные, маклера и меламеды высыпали в праздник с громадными корчевальными топорами. Мы пошли в глубь леса, и люди взялись за работу, а я их снимал.

После съемки ко мне подошли двое:

– Пойдем позавтракаем! Выпейте стакан молока!

Приглашение пришло во-время, – я был изрядно голоден. Меня повели в один из наиболее далеких домов, на окраину села. Она называется здесь – Дальний Восток. Эта часть особенно интересна: деревья вокруг домов еще не вырублены, дома так и стоят в лесной гуще.

Молоко, которым меня угостили, было так называемым «гусячьим» молоком. Оно имело сорок градусов крепости и носило ярлык Госспирта. К этому молоку был подан горшок жаркого из телятины с картошкой, кусок сала и миска кислых помидоров и капусты.

Для судного дня, для поста это уже было недурно.

Хозяева были двое портных. Один был польский еврей, он приехал из Киева. Другой был горский еврей. Они жили холостяками, – семьи должны приехать позже. Они построили дом, собрали полный погреб картошки, помидоров, капусты и прикупили два ружья:

– На зиму! За мясом ходить!..

Они уже носят высокие таежные сапоги, пьют водку и крикают. Один сказал, когда водка немного подкрасила его щеки:

– Ну, а что ж, скажите, пожалуйста? Это жизнь – сидеть всю жизнь и шить? Особенно, по нашей части – дамское платье! Я же на одних тесьмах потерял зрение... На одних тесьмах, – вы слышите?

Второй вставил:

– Лейзер! Вы потеряли зрение, но зато вы нажили геморой, не забывайте!..

– Таки верно! На тесьмах я потерял зрение и нажил геморой. А теперь я вас спрашиваю, какой толк в этой работе? Вот вы можете сидеть в местечке и слепнуть над тесемкой и стараться наложить ее, например, сбоку. Если не сбоку, так не дай бог! А потом, когда вы уже хорошенько наслепили очи и наложили сбоку, так в Париже меняют моду: и уже не дай бог, чтобы тесьма была сбоку.

Опять второй вставил:

– А пока моду не переменили и тесьма на месте, – так что? Так носит ее чужая баба. Еще, быть может, лахудра какая-нибудь, душа из ней вон! Вот для кого стараешься!..

В одном из домишек собралось-таки несколько молящихся. Они стояли, накрывшись талесами, и раскачивались над книжкой, лежавшей на столе. В течение дня здесь перебивало все село: евреи приходили смотреть на богослужение, на молящихся, на талесы, на всю церемонию, как на диковину. Я слышал замечания:

– Что вы на них скажете, на этих чудаков?

– Божьи адвокаты!..

– Ну, что ж! Абы работали. Вчера они на воскреснике не хуже других работали, а

теперь нехай побалуются.

– Именно, что баловство! По шапке за такое баловство!

– Чистый дурман, чтоб я так жил...

Вчерашний портной с цепью на впалом животе продолжал исполнять обязанности первосвященника. Он все еще пел фальцетом отдельные фразы, а потом народ грохал за ним хором. В некоторых, местах он опять выводил трели, нажимая пальцем: себе на кадык. Все в это время смотрели на него с завистью и уважением.

Было именно, как сказано у раби Иегуды Ганаси. Раби спрашивает:

– Какой есть прямой путь, достоизбираемый для человека?

И сам отвечает:

– Всякий путь, который дает ему почет от людей.

Портной нажимал на кадык: это давало ему почет от людей.

А как раз насупротив молельни к старому кедру была приколочена привезенная мною стенная газета. Номер был посвящен коллективизации сельского хозяйства.

Один из читавших, средних лет еврей в рыжеватой бородке, безнадежно махнул рукой:

– Э-т-т! Ничего в их не выйдет. Видали уже мы коллотивы этие... Одна склочничество и неприязнь, один другому делается враг. Может быть, были люди между собой товарищи и жили дружно, так после коллотива они будут теперь враги.

– Почему так, хозяин? – спросил я его.

Я спросил, хотя знал, что он мне ответит. Еврей сказал:

– Ось у нас был коллотив. Почему? Потому что мы были земляки. Ну, значит, работали.

Потом приехали бабы и стали между собой ссориться.

– Не сошлись характерами! – заметил я.

Еврей нервно поправил:

– Не сошлись ядом!.. Разные сорта яда... Одна говорит: я нездорова. Другая – так себе не хочет. У ней брат аптекарь, так она не хочет доить коров. Слово за слово, конец у том, что муж тоже говорит: «Я не продал свою жену на работу». Он не продал! Он не продал!.. А кто ее купит, такую горькую холеру?

На улице показалась худосочная, взлохмаченная и не в меру некрасивая особа. Еврей подтолкнул меня локтем и сказал, понизив голос:

– Вот это она. Смотрите на нее.

Проводив ее глазами, он заметил:

– На мясо она копейки не стоит, а на шкуру смотреть противно. Так он ее не продал!..

Он ее не продал!..

Днем приехал старший агроном Озета. Он объявил собрание, посвященное коллективизации. Большая изба набилась до-отказа. Нехватало только тех человек десяти, которые стояли в соседнем доме под талесами.

Стенгазета, прибитая к вековому таежному кедру, стояла как бы во главе угла, – на равном расстоянии от молельни и от собрания агронома, шагах в тридцати от каждого дома.

Агроном говорил.

Стульев нехватало. На два стула клали длинную доску, и получалась скамья. Сидели очень тесно.

Сидели, отвалившись спиной к стенке, и слушали, опустив веки и немного запрокинув головы на бок.

Хозяин квартиры, толстый еврей в очках, слушал, обматывая и разматывая вокруг пальца цепь на животе, – так «мотают на ус».

Он хотел вставить замечание во время речи агронома.

– А увсе такы, – начал он.

На него замахали руками.

Агроном, помахивая карандашиком, говорил о выгодности организации в Вальдгейме большого молочного хозяйства:

– У вас тут ходит своих коров сорок. Вы можете получить кредит и прикупить еще

столько же. Вы поставите масляно-сыроваренное производство. До железной дороги десять километров, до Хабаровска четыре часа. Сбыт обеспечен. При стаде, масляном и сыроваренном производстве найдется работа для всех. Можете ваших поросят откармливать отгоном, как в Икоре, и у вас будут бэконные свиньи. Кроме того, вы можете организовать здесь коллективный смолокурный завод, мастерскую гнутой мебели. Здесь растет черная береза и дерево-бархат. Благополучие само лезет к вам в руки. Возьмитесь дружно, а мы поможем.

Открылась дверь и появился один из молившихся. Он тихо встал в сторонку. Его осыпали там, в сторонке, взглядами. Он вышел за перегородку. Через несколько минут появилось еще двое богомолы. Потом еще человека три. Они входили робко и тихо, но тотчас приподнимались опущенные веки тех, кто слушал агронома, и богомолы натыкались на колючую проволоку. Они уходили за перегородку. Время от времени кто-нибудь из них просовывал голову с цыгаркой. Еще не взошла звезда, небесный суд еще не кончился, а у него уже цыгарка в зубах: это были цыгарки антирелигиозного раскаяния. Пришел и первосвященник с цепью на впадлом животе. Он пришел как раз в ту минуту, когда агроном спросил – кто за!

Из-за перегородки гурьбой вынырнули богомолы. Они подняли руки. Первосвященник не знал, за что голосуют. Он рысью вбежал в комнату и поднял руку. У него были мутные глаза: как никак, после вчерашнего корчевания он провел сутки в посте и молитве.

Все застыли с поднятыми руками. Вдруг издали раздался страшный и все приближающийся грохот.

Какой-то шутник сказал басом:

– Слышите, еврей? Это идет Мессия. Ему выправили путевку, и он пробудет здесь, покуда не подымет целину.

Грохот приближался, и через минуту сквозь деревья стал виден громаднейший тракторище.

Еврей высыпали на улицу. Мой приятель, шелопай, который вчера дразнил кантора, щелкнул его по голодному брюху:

– Это вы выпросили у бога такой трактор?

Кантор отвернулся. Шелопай повертелся немного и сказал мне:

– Хотите, я сейчас моргну хлопцам, они его будут качать за трактор?

Я не сообразил.

– Не надо! – сказал я. – Он устал. Поблагодарите его устно, а качать не надо.

Но приятель спохватился:

– Что вы подумали? Вы подумали, мы хотим беспокоить товарища агронома?

– А кого?

– Я хочу опиума немного пошвырять, этого кантора, душа из него вон.

Однако «опиум» скрылся. Он, повидимому, что-то почувствовал.

## Маклер на Ушумуне

Автоматическое пятизарядное ружье Браунинга имеет много ценных качеств. Оно отличается меткостью и кучностью боя, а многозарядность создает ему преимущество, которое может оценить только охотник, стреляющий там, где много дичи.

Однако подстрелить из такого ружья фазана или даже обыкновенную тетерку можно лишь в местах, где есть фазаны или обыкновенные тетерки.

Кто-то наговорил мне, что на Ушумуне, за Марфиной заимкой – не Марфы-солдатки, а Марфы-вдовой – к речке поближе, водятся фазанов, как у собаки блох.

Я поехал на охоту.

Однако напрасно изъездил я весь Ушумун вдоль и поперек. Ворон видел, сорок тоже, ястребы носились и скрежетала сойка, а дичи не было никакой.

Я привязал коня к дереву, повесил ружье и лег отдохнуть на склоне невысокого

холмика, чуть в стороне от дороги. Лежу, курю. Вдруг слышу конский топот. Вскоре на дороге показался из-за холма верховой. На немудрой деревенской лошаденке трусил казак, повидимому, охотник, человек лет тридцати, в жидкой бороде, и шапка на нем сидела блином. Была у него берданка, и вокруг пояса патронташ с медными гильзами. Лошаденка шла некрупной рысью, и рыжая собака семеняла за ней, высунув язык.

– Есть что-нибудь? – спросил меня казак, поровнявшись.

Мой пустой ягдташ был ему лучшим ответом. Казак сказал, что он тоже вот с утра носится по всему Ушумуну, а еще не видел ничего.

– Орла убил, да кой в ем толк?! А правильной дичи и не видел.

Тоже, значит, удачник вроде меня.

Он спешился, привязал коня и прилег отдохнуть. Лежали мы, курили, смотрели в небо. А небо как раз в этой местности голубое и находится очень далеко от земли. Пробежит по нему время от времени беленькое облачко, и боле ничего. А так, само по себе, небо стоит неподвижно. Сбоку тянутся зеленые сопки – отроги Хингана, одетые тайгой. Но до них далеко. А вблизи нет ничего. Вблизи есть поле чумизы, трава и солнце. Пожалуй, еще ящерицы и цикады. Но уж зато боле ничего.

– Охотничаете, значит? – заметил казак. – Оно правильное дело, когда удача бывает. А когда неудача, так хуже нет.

Нельзя было спорить с этим взглядом.

Я спросил казака, из какой он станицы и как его зовут. Это оказался Иван Холостов из Тихонькой. Я знал это имя, мне рассказывали, что у него недавно было в тайге приключение.

Он поехал за мясом. На Амуре хозяева едут за мясом не в мясную лавку, а в тайгу. Набьет человек кабанов, коз, подстрелит изюбря или лося и знает, что будет сыт. А про Ивана Холостова я слышал, что его чуть зверь не разорвал.

– Да не таков Ванька человек, хоть из себя и незавидный, – говорили про него.

Холостое сам рассказал мне эту историю.

– Иду, значить, тайгой, смотрю, – нег ли мяса где. Вдруг четыре штуки их ка-ак ни преть! Из-за малой сопочки! Така там мала сопочка есть, как на Таймынь податься, – видали? Где корейская фанзочка стоит...

– Ну, знаю...

– Вот четыре их и поперло...

– Кого?

– Да кого? Медведей. Сам вперед лезет, хозяйка здоровая с им да молодых двое.

– Ну, и что?

– Ну, а что? Стрелил раз да самому прямо в голову торк! – так он и повалился однако. Повалился, а те стали, – мол, не понимают. Второй раз стрелил, – однако, хозяйке в бок дал.

Холостов рассказывал очень вяло. Я подумал, – ему неловко рассказывать самому о своих подвигах. Однако я, повидимому, ошибался. Холостов был правдив, как вообще казаки, но говорил неохотно, потому что рассказ подходил к части, которую он считал невыгодной.

– Ну, стрелил ишшо два раза. Молодого одного поклял, а второй, сволочь, убег... Я этто за им, а тут медведица-то и ожила, однако. Я думал, она совсем, – ан нет, встала да на меня и преть...

Он опять остановился.

– Ну?..

– Ну и порвала...

– Что порвала? – с невольным испугом спросил я.

– Да пинжак-то, почитай, весь в клочья пустила! – недовольно пояснил Холостое. – Ухопила да так над ухом и реветь! А сама лапами загребла... Я еле и стрелить успел...

– Ну, и что?

– Да что? Уложил, конечно. А тот так и убег, молодой-то...

– Значит, все-таки, – говорю я, – трех медведей положили?

Я, признаться, завидовал такому успеху. Но Холостов не был особенно доволен.  
– Дык четвертый-то убог, однако?! И опять пиджак... Хоть старый, а все жалко...

Холостов пыхтел цыгарочкой. От земли шел пар, было тепло и лениво... Холостов спросил:

– А вы тут в еврейской колонии живете? Агроном будете, или как?

Я объяснил ему, что делаю в колониях. Я сказал, что евреи, – он доселе не видал евреев, – никогда не занимались земледелием, а жили в городах. Их переход на новую работу, особенно здесь, в тайге, – очень смелый шаг, и мне вот интересно, выдержат они испытание в Биробиджане, смогут укрепиться или нет.

– Куды там!.. – сказал Холостов. – Вовек не смогут...

– Почему? – спросил я.

– Да не ихняя рука!.. А ни в жизнь не смогут!

Он сел, поджав одну ногу под себя, и начал выколачивать мундштук.

– Ни в жизнь!.. Он и коня толком запречь не может, ему поди запряги.

Это замечание меня, признаться, заинтересовало. Казаки на Амуре – большие авторитеты в вопросах безделья. Они редко когда работали. И вот Иван Холостов критикует евреев, неопытных и неумелых земледельцев, проделавших десять тысяч километров раньше, чем они впервые в жизни увидели землю.

– Ни во век жизни они здесь не уживут, – продолжал Холостов, закручивая новую цыгарку и облизывая краешек бумаги. – Ни во век жизни...

В это время на дороге показались двое пешеходов. Мы издали еще увидели их. Один нес на голове, не держа руками, здоровенный чемодан, у другого был огромный тюк за спиной.

– Корейцы, должно быть, – сказал Холостов.

Народы Дальнего Востока – прирожденные носильщики; особенно корейцы обладают феноменальным умением носить тяжести. У иного на голове корзина, в руках два тюка, за спиной ребенок привязан, и так он шагает километры.

– Не иначе, корейцы, – еще раз подтвердил Холостов и даже вывел отсюда – Ну, вот видите? Смогут здесь евреи ужиться, как бы сказать, примерно корень пустить? А ни в жизнь... Здесь во какая жизнь – на голове ношу свою носи... Во... Тут корейцу бы одному и жить... Я вам так скажу, – прибавил он, понизив голос, – понапрасно и казаков сюда закинули. Видите, сколько годов живем, а сторона кака была глухая при дедах, така и осталась. Уж коли мы, казаки, с ей не управились, – где уж евреям?!

Такие рассуждения я слыхал не раз и от казаков и от не-казаков. Не все хотят понять, что теперь машина помогает человеку в борьбе с дикой природой. Дорожные и корчевальные машины и тракторы могут сделать в Биробиджане то, чего голыми руками человек доселе сделать не мог. Тогда не только евреи, но и корейцы смогут на головах носить шляпы, а не чемоданы.

Когда я стал развивать Холостову свою теорию, носильщики были уже близко. Они шли крепким шагом, по-военному, и размеренно махали руками. Тот, который нес чемодан, был без пиджака, – он перекинул пиджак через руку. Франт.

Я взглянул на Холостова. Он отвернулся и как-то неловко пожал плечами. Я мог его подразнить.

Я его не дразнил. Я даже отвел глаза от него, чтобы не конфузить. Он усмехнулся и сказал сквозь зубы:

– Ишь, с-сукины кошки!..

Оба пешехода с поклажей были типичные евреи. У одного даже была рыжеватая бородка. Лица их были залиты потом, но они шагали.

Когда успели они перенять у корейцев эту манеру носить тяжести?

Ближайшее место, откуда они могли выйти, находится в шести километрах отсюда. Ближайший пункт, куда они могли бы отправляться – в шестнадцати километрах. Холостов, оказывается, делал в уме тот же подсчет. Он сказал:

– Двадцать две версты!... Ну, и с-сукины кошки!.. А глядеть не на кого...

Пешеходы, поровнявшись с нами, сделали привал. Сбросили поклажу, сели, закрутили козьи ножки. Один сел на корточки, другой прилег под деревом. Это были еврей-колонисты. Они вышли пешком в расчете, что встретят в пути конных попугчиков и те их подвезут. Своей лошади нет.

– А вы б не купили? – неожиданно бойко спросил Холостов. – А то вот конь продается! Ух, конь!

– А дорого?

– Да не дороже денег. За цену сойдетесь, но уж зато будете довольны. Всегда добром помянете Холостова Ивана. Вот, скажете, добрым конем наградил человек, пошли ему господь доброго здоровья.

Холостов стал расписывать коня, как невиданное чудо. Однако евреев испугали почтенные лета этого чуда. Тогда у Холостова оказался на примете другой конь.

– Прямо не конь, а аллюр два креста! Боевой конь, на ему призы брать, на таким коню!..

Маклер сделался необычайно словоохотлив. Ему нехватало только суетливых местечковых жестов и въедливых интонаций. Покупатели молча и деловито смотрели, как человек хочет заработать комиссионные, и пыхтели махоркой. Уходя, они бросили ему свой адрес и приказали наведаться послезавтра, когда вернутся из Тихонькой. Вскинули поклажу и зашагали.

– Двужильные они или что? – сказал Холостов, глядя им вслед.

– Двужильные, – подтвердил я, – у них самая главная жила в середине. Она называется – воля...

– Слобода?

– Нет, – желание.

– Это вы к тому, значить, что – захочет человек, так и сможет?

– Это самое...

– М-да... – промычал он.

Момент был для него неудобный вступить со мной в спор.

Он долго курил и молчал. Я думал, он так себе молчит. А он, оказывается, что-то обдумывал.

– В коллектив никогда толком не собьются, – угрюмо сказал он наконец.

– Почему так?

– Да уж так, – протянул он. – Пятеро работают, а он, сукин сын, ходит и лодырничает...

Я спросил Холостова, откуда он знает про еврейские коллективы.

– А откуда знаю, – отвечал он, – что мне сами евреи сказывали. Есть у меня знакомец из ихних же, еврей один...

– Ну, и что?

– А заходил ко мне и рассказывал. Как раз пришел, а у нас во дворе ссора. То ись не как бы сказать ссора, а обыкновенно ругали мы товарища одного своего... И даже так скажу, что и по морде ему давали.

– За что же это? – спросил я.

– За что давали? За то давали, что он, сукин сын, в артель вошел, а от работы-то и отлынивает. Что ж это ты, мол, говорим? Шесть нас человек, пятеро работают, а ты, мол...

Я слушал Холостова, не глядя на него. Я лежал, зажмурив глаза: солнце очень уж било прямо в лицо. А он оборвал рассказ на полуслове: в воздухе послышалось какое-то хлопанье. Я взглянул на Холостова. Он замер. Собаки делали стойку. Откуда-то, наконец, явились фазаны, – пять жирных курочек и один петух.

## Глава об антисемитизме

### 1. Старики

На берегу Биры была кутерьма и сутолока: отправлялся в дорогу большой трактор. К пятидесяти сильной гусеничной машине прицепляются тележки, на них кладут грузы, вещи, багаж, затем взгромождаются люди: рабочий, охотники, пассажиры, агрономы – и поезд не спеша отправляется в путь.

Шли последние приготовления, когда откуда-то из-за поворота показалась одноконная крестьянская тележка и проехала мимо. В тележке сидел агроном-мелиоратор с соседнего участка, а правил лошадей или, как говорят здесь, ямщикил старик лет семидесяти, судя по внешности – амурский казак.

Он бросил взгляд на наш трактор, на груженую телегу и весело крикнул трактористу какую-то шутку, что-то вроде того, что ежели трактор надорвется, то нас всегда сможет выручить в пути его, старика, лошаденка: ехать нам предстояло по дороге.

– А ты ездить стал, Кувалдин? – крикнул ему кто-то из наших.

– А как же! – весело бросил старик, оборачиваясь. – Конь удалый, парень бравый! Мы ишшо, парень, поездим! Ишшо поездим!

Сказав это, он сам рассмеялся и дернул возжи.

Я уже слышал про Кувалдина. Он из Венцеловой. Занятные про него говорили вещи. Вот он, значит, какой, – плоское, полубурятское лицо, хитрющие веселые глазки да рваная шапка на седой голове, – вот он какой, Кувалдин?.. Говорили, был у него полон дом сыновей и дочь была красавица. Сыновей он из дому выжил, – лютый старик. А дочку насильно, против ее воли, выдал за кривого якута замуж, потому что якут хвалился и показывал, что у него два пуда золота – сам намыл. Выдал Кувалдин дочку за якута, а тут вскорости якут хворать стал и через недолгое время помер, а дочка с золотом досталась Кувалдину. Стала она помышлять второй раз замуж идти, да и сватались к ней немало: сама хороша и золота два пуда, но отец коротко сказал, что убьет, и в доказательство стал бить ее почем зря. В один прекрасный день она исчезла, – говорят, в город удрала, в работницах там живет.

А тут ко всему и баба Кувалдина, жена его, померла и остался он один при большом богатстве, в крепком доме, при резвых конях. Все было у него, чтобы жить веселой и легкой жизнью, только годы были не те: семьдесят. А Кувалдин не взглянул на это, стал веселиться в жизни, девушек завел целую ватагу, карамелями их кормил и вообще, как говорится, понес. Над ним точно впервые солнце взошло. Только недолго оно ему светило: стали кулаков раскулачивать.

Тогда узнал Кувалдин, что он стар, и что старость – грустная и тяжкая пора: имущество у него отобрали, а девушки сами упорхнули, как воробьи, и остался Кувалдин яко наг, яко благ, чуть не в батраки нанялся, – на чужом коне ездит. Недолго радовался.

Рассказали мне эту историю случайно, когда пришлось к слову, и вот по какому поводу: к нам приехал из Венцеловой казак один и, так себе, скуки ради рассказал, как ночью одна старуха поймала Кувалдина, когда он пробирался на сеновал, где спала ее шестнадцатилетняя дочка, и кочергой того Кувалдина огрела. Рассказывавший находил, что это подло, потому что, когда Кувалдин был при деньгах, все станичные старухи ему своих дочек сводничали, а теперь вот кочергой лупцуют.

– Да уж не такой он старик! Уж он девчонку эту небесприменно уведет! Просто, для зла уведет Вы наших стариков не знаете! Наши старики – кремень и огниво! – прибавил венцеловский.

И верно: среди разных людей, каких видел я на Амуре, старики необычнее всех.

Крепкие они здесь и живут подолгу.

Забрел я в лесную сторожку в тайге за Бираканом. Там нашел высокого бойкого старика, – борода мелкой. На вид ему было лет под шестьдесят, и был он для этих лет бодрый и подвижной: поминутно бегал в погреб и обратно, из колодца воду таскал, дрова колот и все делал быстро и легко. Ему оказалось восемьдесят два года, он клялся, что ему восемьдесят два. Мать его померла ста двадцати лет, а отец дожил до ста тридцати двух. Старикан клялся, что сам он всю жизнь курит и пьет водку, а отец так и вовсе пьяница

был, не тем будь помянут, и тоже табак курил, а если помер, то от дурного глаза, а не то еще жил бы.

– Люди мы таежные, живем мы в глуши! – сказал старик. – Не о кого нам пример брать помирать.

В Раздольной живут старики Худяковы, почти легендарные зверобои. В молодые годы они принимали заказы на тигровые шкуры, как на селезней. Один из них потерял на охоте руку: тигр отгрыз. Но и лежа под страшным зверем Худяков не растерялся: высвободил вторую руку и всадил тигру кинжал в горло. Тем спасся.

В Союзной живет старик Ярославцев.

– Не авантажный он с лица человек, – говорят про него. – Его медведь повредил.

На охоте Ярославцев попался медведю в лапы, и медведь сделал с ним то, что он часто делает с людьми и чего охотники боятся от него больше всего: медведь положил ему лапу на голову и потянул вниз. Кожа с головы – скальп – и все лицо до самого рта оказались сорванными и вывернутыми наизнанку, как чулок.

Ярославцев, – как выразился один его приятель в разговоре со мной, – сразу очень был «изумлен», а потом отвернул лицо и скальп на место и добрался домой пешком. Пять верст.

В Столбовой жил я у хозяина, – подвижной, ловкий был человек, борода черная, глаза, как гвозди. Я поначалу думал, ему лет сорок пять, – оказалось, за семьдесят. Я слышал из-за перегородки, как он учил внука Костю:

– Само главное, – наставительно твердил старик, – бояться ее не надо! Ежли ее не бояться, она тогда на человека не смочит. Тигре надо в глаза смотреть – она человеческого глаза боится! Вон Сазонт Дрыгунов три раза тигру глазами отваживал.

Старик прибавил после паузы:

– И то ишшо Кискинкин, упомни, что тигра петляет. Она ежли человека почуяла, норовит сзаду ему зайти. Ее тогда надо сзаду берегтись.

Костя, я слышал, заерзал и тяжело задышал, а дед продолжал:

– Тут я прямо скажу, Кискинкин, я не песельник в этом случае. Тут можно два не перечесть и жилки потерять. В этом случае, Кискинкин, ты лошадь под уздцы, а сам поспешай пеше, да веселей. Тигра на лошадь сзаду скочит, а ты не ездыхай, беги!

Косте было лет двенадцать, Кискинкину этому.

И водку пить деды горазды. В Никольской сидел я у знакомых колхозников, обедали. Было тепло, дверь стояла открытая; вдруг ворвался в комнату старик, как лунь белый, пьяный и веселый.

– Я казак! – орал он, – Я в комфозе работаю, якут твою в зеркало!.. Зачем дощи идут? Где теи агрономы, что должны слово знать против, доща?

Он стал скверно ругаться, и хозяева сделали ему замечание.

– Я не ругаюсь, – возразил старик. – Ежли я мать пущаю, то это она сама вылетает.

– Это не ругаться, – пояснил он далее, – ежли мать вылетает. А конюшню вы набок построили! А в комфозе порядка нет, морде вашей наполовину!...

Выругавшись, он снова тотчас разъяснил:

– Я не ругаюсь. Женщины не слышат: у их на ушах золото.

Впрочем, это был просто оголтелый пьяница, крикун.

– Зачем ты пьешь, старик? – спросил я его.

– А куда деньги девать? – немедленно и в тон ответил он мне.

Я взглянул на его худой пиджачишко и посоветовал:

– Плащ купил бы.

– А пить на что? – тотчас возразил старик.

У него даже сделались большие и удивленные глаза. Сам он был низкорослый, волосатый, коротконогий, а руки были длинные и корпус держал он вперед. Это все делало его похожим на обезьяну или на зверя, ставшего на дыбы. Он выпил у нас рюмку и с пением сел на пол.

Но это был просто пьяница, малопочтенный выпивоха. А настоящий дед не пьяница, а

петь во благовремени, когда господу угодно.

Зная, что меня интересует история колонизации Приамурья, мои знакомые повели меня в Никольской к какому-то деду старожилу.

– Вот кто вам много расскажет! Человек он древний, лет ему под сто! Он из самого Забайкалья с Муравьевым-Амурским пришел.

Мне было очень интересно, и я решил отправиться к старику немедленно. Но мне посоветовали раньше завернуть в лавку Центроспирта – наполнить баклагу водкой.

– Для вежливости! – пояснили мои знакомые. – Старик хоть и не пьяница, а вежливость признает.

Мы застали старика на полатах. Когда он встал и выпрямился, я увидел перед собой человека громадного роста, широкоплечего и косматого. Волосы на голове и борода были взлохмачены, и лицо от этого казалось громадным. Рот у него был тоже громадный и голос громоподобный. Ноги у деда не сгибались в коленях, и ходил он точно на ходулях, держась за стенки. Тут же вертелась и старуха его. Узнав о цели нашего прихода, она озабоченно сказала вполголоса:

– Не будет он сегодня говорить. Ежлиб не воскресенье, он бы говорил, а в воскресенье он с утра пьяный.

Старик сел рядом со мной. Немолодой сын почтительно поднес ему стакан, я стал наливать водку. Я лил осторожно, ожидая, что на четверти, ну на половине, ну на трех четвертях старик меня остановит. А он внимательно смотрел, как я лью, и лишь, когда стакан был налит до краев, он удержал меня за локоть:

– Не пролей смотри, мой бравый!

Он поднес стакан к своему громадному рту и выплеснул его туда, как ведро. Закусить нечем было. Дед, все так же держась за стенки, добрался до полатей, достал оттуда маньчжурский табак-горлодер, набил трубку и вернулся ко мне беседовать.

Даром на него старуха говорила: никаких признаков опьянения у старика не было, и рассказывал все он довольно складно – и про то, как из Забайкалья три года путешествовали, и про то, как дикие звери и даже тигры бегали там, где нынче стоит его дом. Очень он сокрушался, что помер недавно Игнашка, товарищ его: тот мог бы больше рассказать. Игнашке было сто шесть лет.

Когда я уходил, старик все приговаривал:

– Ух, ты, мой бравый! Ух, ты, мой удалый! – и, приговаривая, налил себе еще водки из моей баклаги.

Старуха что-то такое сказала ему, вроде того, что, мол, на сегодня довольно бы водку хлебать. Но он так рывкнул на нее, что она испуганно засемила прочь.

Он говорил густым громыхающим басом, точно гармонь туго растягивали на басах. На прощанье он поцеловал меня, говоря:

– Дай, я тебя в верхушку поцелую.

Он сказал это близко к моей голове, и у меня загудело в ушах.

Крепкий и тугой народ казацкие деды. Правильно сказал венцеловский приятель, что они «кремень и огниво». Как древние дубы, как кедры в три обхвата стоят они посереде жизни; и берегут старину.

## 2. Деды отмерзают

Мы возвращались с охоты со знакомыми казаками. Ехали верхами. В пути к нам присоединился еще один верховой, – молодой парень-пастух. Было солнечно и хорошо, и парень во все горло пел частушки:

Старики вы, стары черти,  
Нерассудливый народ.  
Молодые помирают,

А вас чорт не берет.

Кто-то из казаков сказал:

– Это ты, парень, однако, брешешь, что чорт не берет. Вполне берет. Зимой видал, что в Екатерино-Никольском со стариком было?

Вот что было зимой: зимой в тайге появился автомобиль.

Страшная телега, свистя, гудя и пыхтя, рванулась от станции Тихонькая Уссурийской железной дороги и побежала на самый Амур. Эта машина появилась с новыми переселенцами, с евреями.

Зима здесь сурова, но малоснежна. Грунт промерзает и делается тверд. Когда тугой таежный мороз перекинул мосты через сумасшедшие речки и вековечные болота, Озет пустил пассажирский автомобиль. Маршрут лежал через казачьи села. Там никогда не видели такой машины. Вспокоенное население толпами выбегало на улицы. Бабы крестились, старухи читали псалмы на кончину мира, а чертовская машина гудела и мчалась, смеясь над всем на свете и оставляя позади себя страшный смрад геенны огненной.

Нельзя сказать, чтобы эти первые путешествия были безопасны: от перепуганной темноты можно было ждать всего. Но так устроен мир под солнцем, что жизнь зовет жизнь. Когда первые страхи прошли, то на каждой остановке, в каждой дикой таежной деревне неведомо откуда являлись люди, дремучие люди тайги, с просьбой подвезти их.

Автомобиль, пущенный Озетом главным образом для своих организационных надобностей, сделался доходной статьей. Люди, которые никуда никогда не ездили, потому что – «куда от нас поедешь?», получили потребность передвигаться, сноситься с себе подобными, ездить. У таежных барсуков появились дела. Находились люди, которые предлагали втрое против установленной таксы, никаких денег не жалели, лишь бы скорее доехать. Семьдесят лет мокли в болотах, семьдесят лет не вылезали из тайги и вдруг заторопились, едва показалась возможность наладить человеческую жизнь.

Многим приходилось отказывать. Один был, однако, человек, которому шофер отказать не смог. Это – старый казак в Екатерино-Никольском. Ему сто шесть лет. Он пришел сюда с Муравьевым-Амурским семьдесят лет тому назад из Забайкалья с первыми новоселами. Он провел в пути три года.

Старика усадили на машину. Он вздрогнул, когда она рванулась, и стал что-то беззвучно шептать про себя, – должно быть, молитву. Его повезли по всей деревне. Когда прогулка кончилась, дед вышел, покачиваясь. Он потряс еврею-шоферу руку и сказал:

– Таперя, однако, я слободно и помереть могу.

Глухая сторона Биробиджан. Кругом Хинган, тайга и медведи, а внутри деда.

Особый народ – казачьи деды. Я знаю одного, которому сто шестнадцать лет. Он ездит верхом и шутит с девками. По хозяйству ему помогает девяностолетний сынок.

Старики – хранители старой казачьей рутины.

– Уж мы – как деды, – говорят казаки на Амуре, держась за косную и темную старину.

Я встретил казака, который был в Китае и видел, как хорошо и остроумно китайцы разводят свои огороды.

– Ну, я решил, как домой приеду, и у себя то само заведу, – сказал он.

– И завели?

Он понуро отряхнул пепел с цыгарки, сплюнул и сказал:

– Дык не довелось.

– А почему?

– Кто его знат?.. Приехал домой, рассказал старикам, а старики говорят: «Сукин ты, говорят, сын! Плохо, что ли, деды твои жили? А тебе мудрить надо? Умней стариков хочешь быть?» Вот так оно, дело-то, и пропало.

Старики – пример и основа казачьей жизни. В Лазаревой я видел хромого, которому старики не позволяют лечиться у врача. У них есть от хромоты свое лечение. Вот оно: «Два мертвеца дерутся, острыми саблями секутся, у их раны не ломит, кровь не текет. И у раба

божия Афончи кровь не теки». Афонча к доктору и не ходит. Только старики и читают над ними свои заговоры.

Неудивительно, что случай со стариком, который сел в автомобиль, облетел все побережье. Он передавался из уст в уста. Я потом слышал эту историю за триста километров. Она обросла невероятными подробностями, она стала легендарной. Передавая ее, казаки говорили:

– Во! Пронимать стало!.. Деды отмерзать начали.

Как ни первобытны люди тайги, они с замечательной, подчас трогательной и настороженной чуткостью относятся ко всякому, кто приходит к ним с культурой. Куда мы ни приезжали с научной экспедицией, мы встречали самый живой интерес со стороны населения.

В станицу Столбовую мы приехали совершенно мокрые. Пришлось переходить вброд речку, проводник неудачно повел нас, и кони под нами проваливались в какую-то яму и плыли через стремнину. Мы все, один за другим, падали с коней в воду. Эта книга рисковала не быть написанной. Если бы у лошади профессора Кунца был чуть короче хвост, автор не имел бы за что ухватиться в последнюю минуту.

В Столбовой сушили платье, сапоги, вещи. Народу глядеть на нас набилось уйма.

– Пущай, пущай наглядятся на ученых людей. Авось, самим захочется учеными стать, – сказал пожилой казак, указывая на детишек, глазевших во все глаза.

За Волочаевкой, в непроглядной глуши, жители созвали сход и пригласили наших профессоров рассказать им, что именно они здесь собираются делать:

– Каку пользу затевайти?

Объяснения давал глава экспедиции, профессор Хэррис.

Казаки сидели вокруг своих стариков, как краснокожие в Дакоте, и слушали непонятный им язык. Американец говорил о прогрессе и учености его богатой страны, о машинах, которые заменяют человека в труде. Он сказал, что Биробиджан имеет все, чтобы тоже стать богатой и ученой страной.

Когда он кончил, выступил казацкий дед, древний дед с белой бородой и колючими глазами. Он сказал переводчику:

– Передайте, знацца, што благодарим. Так, мол, и скажи, – благодарны, мол, казачество. И ишшо просят, мол, Америку, чтоб, знацца, и напредь так поступала...

Дед вытянул вперед руку, зажатую в кулак, и, туго забирая ее назад, пояснил:

– Чтоб, знацца, именно к нам ученых людей спосылала, да с машинами, а не то што солдат с войной.

Потом он жал руки профессору Хэррису и всем нам и говорил каждому:

– Премного благодарим.

Когда в тайге впервые затарахтел трактор, казаки стали не на шутку высказывать недовольство: они давным давно свыклись со своей забитой и темной охотничьей жизнью и увидели в тракторе угрозу:

– Зверя разгонит! – говорили они. – Поди-ка поищи его, когда он шорох слышит, а тут во какой шум подняли!..

Но прошло какое-то время, и казаки увидели, что трактор, хотя и отгоняет зверя, но имеет все же свои качества, которые пожалуй, дороже и интереснее самой теплой медвежьей шкуры: трактор за первые два года поднял в Биробиджане больше земли, чем до него было поднято косными казаками за семьдесят лет.

В нескольких поселках уже горит электричество. Оно зажглось в тайге впервые в 1928 г., через несколько недель после прибытия первых переселенцев, когда на Бирской опытной станции была открыта тракторно-ремонтная мастерская. Трактор дал свет. Ни земля здешняя, ни небо, ни звери, ни птицы, ни люди не видели никогда того непостижимого чуда, которому революция присвоила наименование лампочки Ильича.

Евреи как колонизаторы Биробиджана являются культуртрегерами. Не потому, что они евреи, а потому, что их здесь поселяет советское государство, которое знает, что нельзя этот

край колонизировать, не подвергнув его большой культурной обработке. С новыми колонистами появились тракторы, дорожные машины, экскаваторы, – частью советские, частью присланные друзьями из Америки. Появились мелиорация, агрономия, строительство. Вообще, начинается жизнь культурная. Колонизация, – в данном случае еврейская колонизация, – отвечает давно созревшим потребностям коренного населения.

– Спасибочки, евреи зашевелили, – говорил мне седой старик. – Таперь, говорят, будут дорогу прокладать тут. А то ведь сторона наша, сами знаете, какая, – сторона наша таежная.

Как мне ни казалось неожиданным, казаки и евреи уживаются рядом хорошо.

В Екатерино-Никольском, поблизости от еврейской колонии Амурзет, мой знакомый, с которым мы вечером проходили по улице, обратил мое внимание на разговоры, слышавшиеся в темноте. Там казаки молодые люди звали евреек-трактористок проводить смычку национальностей где-то нето в саду, нето на берегу.

– Видите как? – сказал знакомый. – Сливаются, срастаются!..

Правда, политика Никольских парней в национальном вопросе объясняется еще и приятной внешностью евреек-трактористок. Молодые еврейки нравились во все времена и антисемитам. Еврейскую рыбу тоже зачастую любят самые заядлые юдофобы.

Но есть случаи и посерьезней: в том же Никольском еврей-переселенец, к тому же бывший шойхет, т. е. лицо почти духовного звания, женился на казачке и взят в дом ее родителями за сына. Тесть и теща не наглядятся на милого зятюшку. Лучшие куски свинины подсовывают милому зятюшке. Бывший шойхет отъедается сала за всех своих самых отдаленных предков, которые никогда не ели трэфного.

– Свет перевернулся!..

Когда-то в местечках евреи выдавали дочку замуж за шойхета и брали его на полное иждивение. Потом бог давал погром. Тогда налетали казаки, шойхета убивали, а дочку насиловали.

– Когда свет перевернулся!..

Но как живут с казаками евреи, которые не женятся на казачках?

Евреи, которые не берут у казаков дочерей в жены, ничего у них не берут: громадное значение имеет то обстоятельство, что евреи заселяют земли, которые до них никогда ни в чьем пользовании не были. На Украине и в Крыму евреи поселяются на бывших кабинетских, церковных, помещичьих или кулацких землях. Как бы это ни было просто и справедливо, а все же иной раз подает повод для антисемитского злословья.

В Биробиджане этого не может быть. Немногочисленное коренное население здешних мест не имеет основания ревновать.

Были кое-какие нелады у евреев с соседями, но не с казаками, а со старыми переселенцами из Украины. Эти привезли сюда, среди прочего домашнего барахла, бытовое юдофобство, и на этой почве были ссоры. Но дело было улажено. Самый способ улажения был для здешних украинцев необычен и должен был подействовать на них внушительно.

Начать с того, что ссоры, которые им, по старой привычке, казались не подлежащими никакому обсуждению, вызвали вмешательство власти.

Приехал молодой человек в кепке, созвал «громадян» на собрание и изложил им принципы советской политики в национальном вопросе. У него на боку висел наган. После его отъезда многие «громадяне» были страшно разочарованы, узнав, что в отношении евреев есть перемены в законах. Никто не любит ломать свои привычки. Однако в этой деревне больше столкновений с украинцами не было.

С казаками легче. Осложнений может и вовсе не быть. У здешних казаков нет и старых юдофобских навыков. За недолгий срок соседства, за один-два года, казаки гораздо ближе сошлись с евреями, чем, например, с корейцами, которые живут в этих местах 60–70 лет. Корейцы к русским не ходят и к себе не зовут. А с евреями казаки ведут дела и даже сколачивают общие колхозы.

В еврейском колхозе Бирефельд у молотилки, среди евреев, работает девушка Катя. У ней ямочка на подбородке и немного приподнятые в углах большие черные глаза. Она – не

еврейка. Она – корейка. Евреи хорошо живут с корейцами.

В яслях возится с полсотни молодых колхозников. На стене висит размалеванный цветными карандашами плакат:

Не забутти папи – мамы  
Что детьми вы были самы.

У молодых колхозников стекают сережки из носов. Нянька не успевает вытирать. Детишки поют хором еврейские песни и в такт хлопают в пухлые ладошки. Детишки все более или менее одинаковы, но среди этих рыжих и черноглазых пичуг – несколько казацких детей. Они тоже поют по-еврейски. Два года назад, когда здесь прошел слух, что приедут переселенцы – евреи, казаки всерьез спрашивали, верно ли, что евреи с рогами?

Можно рассчитывать, что отношения будут хорошие, если...

Если их не испортят.

К сожалению, среди прочих ошибок организации еврейского переселенчества, были допущены и ошибки в деликатном национальном вопросе.

### 3. Как это делается

Километрах в восемнадцати от еврейского поселка Амурзет, расположенного на берегу Амура, строится большая рисовая плантация. В глухой глуши, которая миллион лет не слышала никакого звука, кроме свиста таежных ветров, гудит экскаватор и суетятся переселенцы-евреи. Сюда свезены три деревянных здания – три сруба – и местность получила название. Она называется «Три балагана». В одном здании – контора, в другом – склады, в третьем живет технический персонал. Есть кооператив. В нем имеются одеколон и книги. Кругом пустыня. На стенке висит объявление, написанное от руки:

Всем членам н/союза и других союзов рабочим и служ. на данной предприятии о внесении членских взносов. Не внесение в течение 3 месяцев считается механически выбывшими.

Молодая колонистка, недавно приехавшая откуда-то с Украины, уже нашла себе мужа. Она уже на сносях. Глядя на нее и на экскаватор, можно судить, что будут дети и будет рис. В общем это то, что называется жизнью.

Рисосеяние – новая эпоха в жизни Дальнего Востока. Однако было бы ошибкой думать, что рисосеяние, в его нынешнем, т. е. «мокром», виде дает работу нашему советскому сельскохозяйственному населению Дальнего Востока.

Все процессы рисосеяния находятся целиком в руках корейцев и, главным образом, пришлых. Никто не может с ними конкурировать.

– Вот, поглядите на него, – сказал мне десятник, указывая на худосочного, прозрачно-желтого корейца-землекопа. – Полюбуйтесь! Он съедает в день три фунта мяса и пять фунтов хлеба, но зато он выбрасывает два куба земли.

На рисовые плантации привозили уже работников всяких национальностей: и русских, и казаков, и украинцев. Скушать корейскую порцию еще умели, но сделать корейскую работу некому.

Посев, полка сорных трав и уборка риса производятся корейцами в воде. Рабочий должен проводить весь свой день, стоя в воде. Нет любителей среди белых рабочих.

Не надо думать, что этот вопрос имеет только хозяйственное значение.

С ним связаны невидимые простому глазу, но первостепенные вопросы внутренней и даже международной политики.

Вот кое-какие статистические данные:

Отношение числа корейцев – японских подданных, к советскому сельскому населению Приморья составляет 18 %. Вообще же на 60000 советских граждан, занимающихся здесь сельским хозяйством, приходится 74 000 японских подданных – корейцев.

С течением времени эта ненормальность только усиливается. В 1910 году на Дальнем Востоке было 15 000 корейцев. А сейчас в одном только южном Приморье их проживает 150000.

Был в свое время такой случай: какой-то здешний исправник, объезжая свой район, неожиданно нашел неизвестное ему дотолу корейское село.

– Откуда взялись?

Корейцы знали одно:

– Моя понимаю нету.

Выяснилось, что они расселились целой деревней в несколько сот душ с разрешения... унтер-офицера пограничной охраны. Впрочем, и сейчас вдоль границы стихийно вырастают села корейцев-рисосеятелей. Можно сказать, что граница стирается.

Как смотрят на это в Японии?

Передо мной II том «Записок Владивостокского отд. географического о-ва». Здесь напечатан краткий, но очень интересный разбор книги японского публициста Такео – «Очерк дальневосточных концессий».

«Я не могу не рекомендовать направить нашу эмиграцию в русскую Приморскую область, – пишет Такео. – Приморская губерния находится в таком положении, что для развития ее естественных ресурсов ей необходима восточно-азиатская и, особенно, японская эмиграция, и она должна ее приветствовать. Разработка Приморской губернии является естественным правом и долгом японцев».

Такео подсчитывает, что через 45 лет население Японии удвоится, я тогда вопрос о рисе, основном продукте питания, примет катастрофические формы. Автор делает отсюда следующий вывод:

«Не будет преувеличением сказать, что Приморская губерния в русских владениях дана японскому народу для того, чтобы он занимался в ней разведением риса».

Надо впрочем отметить, что еще в 1918 г., во время японской оккупации на Дальнем Востоке, в обозах японских полков следовали агрономы-рисосеятели. Они и положили начало рисосеянию на Дальнем Востоке, начав приспособлять к нему корейское население. Японцы и на нашем Дальнем Востоке рассматривали корейцев как своих подданных. Во Владивостоке находился специальный комиссар японского генерал-губернатора, на обязанности которого лежало проведение ассимиляции. Японцы раскинули широкую сеть общества японокорейского сближения «Конахай». Это общество состояло из корейских кулаков. Официальной программой его был паназиатизм, фактически же это было подчинение корейцев японскому влиянию.

Как известно, японская военная оккупация мало-мало отменена, и даже Такео считает преждевременным обсуждать, каким образом сами японцы могли бы приступить к рисосеянию в Советской России. Но что он считает насущно необходимым и немедленно осуществимым, это – «оказывать помощь корейцам, которые эмигрируют в Приморскую губернию и имеют опыт в рисоразведении в местных условиях».

Политика Советского союза исключает версию о «желтой опасности». Нет «желтой опасности», как нет вообще опасности национальной. Но есть опасность империалистическая. 500 миллионов китайского, корейского и японского населения, изнывающих в скученности и нищете, управляются империалистическими правительствами!

Это значит, что дальнейшее пустование грандиозных пространств нашего Дальнего Востока грозит многими бедами. Надо зорко следить за этим уголком нашей географической карты. Устройство своей рисовой плантации в Биробиджане надо, следовательно, приветствовать.

Однако на этой плантации евреям первоначально отведена только организаторская роль. Вся же трудную работу выполняли опять-таки наемные рабочие-корейцы.

Правда, сами евреи-переселенцы в этом несколько не повинны: не они организовали колхоз, а его организовали, не подумав, руководители биробиджанской колонизации. Правда еще и то, что плантация передана Дальрису и теперь является совхозом. Но это правда

неходовая, это правда для знатоков и любителей. А ходовая правда та, что евреев, пришедших сюда трудиться, ни с того, ни с сего представили «хозяевами», едва они появились в тех краях.

Или еще:

В корейском селе Благословенном организованы два кооператива: общегражданский и рабочий. Один обслуживает население деревни, а другой-рабочих и служащих зерно-соевого совхоза. Гражданский кооператив снабжается хуже рабочего, и клиенты ревнуют. Все это очень обыкновенно. Но тут деталь: рабочие и служащие совхоза в подавляющем большинстве – евреи. И тут уже червь зависти получает национальный характер. Так что можно иной раз услышать, как корейский дядя с козлиной бородкой зюкает: «зиды капилативы зиледка давай, корейса зиледка давай могу нет».

Этого можно было избежать. Совхоз со своими тракторами и трактористами перевернул вверх ногами всю патриархальную жизнь села. Столкновение двух миров сопровождалось столкновением: двух рас. Думаю поэтому, что на таком деликатном плацдарме, как кооперативный прилавок, надо бы хоть первое время маневрировать более осторожно.

Есть и еще способы портить отношения.

#### 4. Не та шиманесра

В осенние праздники в синагогах дуют в рог. Стоит обыкновенный еврей, даже не всегда почтенный купец, а нередко и сутулый беднячишко, и, надсаживаясь, дует в рог. Среди молчания, которое на миг тяжело и напряженно повисает в синагоге, его пронзительный вой наводит страх. Это очень сложное и ответственное дело. Еврей, дующий в рог, называется на духовном языке «муж, сведущий в роготрублении».

Он дает евреям урок музыки:

– Мол, запомните, кошкины дети, как звучит рог воскресенья! А то вот помрете, засыплют вас землей, а там придет Мессия, затрубит вот таким фасоном, а вы, дубье, и не узнаете и продрыхнете важный час воскресения из мертвых.

По еврейским верованиям в день, когда протрубит рог Мессии, восстанут из могил все евреи, умершие со времени сотворения мира, и неудержимой лавиной устремятся в Иерусалим.

– Слушай, Израиль, как звучит зов воскресающий, чтобы не ошибиться и не дать маху!

И вот в осенние праздники, на Рош-Ашуно, в Биробиджане, в еврейском поселке Бомба – Бирефельд тож – евреи, собравшись на молитву, внимательно слушали роготрубление.

Переселенец, исполнявший обязанности кантора, стоял, покрывшись с головой талесом, и, закатив глаза, пел молитву на древне-еврейском языке.

Все было торжественно.

Внезапно молельня огласилась зычным криком. Кто-то из молящихся заорал с необычайно русопетским акцентом:

– Янкиль! Дубова голова! Ты ж каку шиманесру правишь?!

Среди молящихся произошло замешательство. К кантору подбежал мужик в фуражке с кожаным козырьком, в рубаше навыпуск из-под жилета и в высоких сапогах – типичный трактирщик.

– Белены ты, што ль, объелся? – кричал он, потрясая молитвенником. – Ты каку шиманесру правишь? Ты ж, дубье, буденную шиманесру правишь! А ить сѣдни никак божий праздник – рошашона, дурья твоя голова!..

Можно было ждать, что этот наскок кончится восклицанием: «креста нет на тебе», что было бы, впрочем, вполне правильно.

Кантор, обыкновенный местечковый портной, не бог весть какой ученый, хватил, действительно, не ту молитву. Он так и повел бы молящихся не той дорогой, не случись здесь нескольких еврейских начетчиков – Вахрамеевых, Потаповых, Егоровых.

Рувима Исааковича Вахрамеева на мякине не проведешь. Старик Егоров, Хаим Шмулевич, тоже начетчик первой руки, да из Потаповых, ежели взять Ицхока Абрамовича, – тоже собаку скушал в сих делах. Этим людям нельзя втереть очки на древне-еврейском языке; их не заставишь петь не ту молитву.

Кто эти люди?

Секта субботников, еще иначе именуемая «жидовствующей ересью», появилась в православии очень давно, едва ли не в XIV столетии. Ее деятельность то вспыхивала широко, то угасала. Субботники были близки к престолу одно время – при Иоанне III. Потом их держали в темницах. Нето Иосиф Волоцкий, нето Иосиф Ростовский объ явили, что каждый субботник – «сосуд сатаны», «адов пес» и «диавалов вепрь». Однако еретики не плохо плодились и размножались на Северном Кавказе, в Саратовской губернии да и в некоторых центральных. Лет 60–70 тому назад, при Александре II, сектантство вспыхнуло в России с новой силой. Усилились и репрессии. Жидовствующие были выселены на окраины. В частности, из Саратовской губернии крестьяне-еретики попали в Сибирь. Они продолжали там заниматься земледелием и жили припеваючи по-кулацки. Они нажили кулацкие хозяйства, исподволь отвергая божественное происхождение Христа и поддерживая критическое отношение к вопросу о девственности девы Марии.

В последние годы им сделалось тесновато: с одной стороны, началось в их местах малоземелье, а с другой стороны, – рядом с коллективизацией, действительно, широко не развалишься.

– Думали мы, было, к бурятам переселиться, – земля там хорошая, да вот раздумали, – рассказывал мне один из них.

– Что так? – спросил я.

– Да к своим потянуло, к евреям...

– Какие же вам евреи – свои? – недоумевал я.

Но тот был непреклонен. У него были свои аргументы:

– Как жа, помилте? Ить мы позавсегда, скажем, раввинов держали. Опять же моеля, который младенцев, значится, обрезает по библейскому закону, тоже держим! Шойхета тоже самое! Да мы ить закон-то весь соблюдаем! Небось, трэфного в рот не берем! Бабы у нас по пятницам свечи ставят. Одним словом, все честь-честью, по мойсееву закону.

Это был здоровый мужик, курносый, голубоглазый, стриженный под скобку. Я застал его дома за молитвой. На лбу, слегка отодвинув фуражку и волосы, смазанные постным маслом, сидела здоровая коробка тефелим – молитвенной принадлежности, которая уже умирает в быту природных евреев. Громадный талес падал почти до земли. Из-под него проглядывали лакированные сапоги бутылками.

Он взял молитвенник и начал зычно гаркать утрению:

– Ми шабейрах овисейну Авроом, Ицхок, в'Янкев, гу ивойрех зс кол гакол гакодиш азэ им кол.

Он обтесывал древнееврейский текст поистине как кол.

В селении Бирефельд по нарядам некоторых сибирских озетов целая группа сектантов-субботников получила земельные наделы.

Однажды мне сказал переселенец Хаим-Мордко Пинтель:

– Одново я понимаю, – сказал он, – и одново я не понимаю.

Мой приятель Хаим-Мордко – сухопарый еврей громадного роста. Голос у него такой, точно в горле застряла горячая картошка: бас-фальцет-профундо.

– Скажите сразу, чего вы не понимаете? – предложил я.

– Что такое эти кредиты, которые мы получаем от Озета, и тракторы, которые присылают американские евреи? – нервно спросил Хаим-Мордко. – Это премия за обрезание?

Самарские крестьяне-субботники могли попасть в евреи, действительно, только по графе религиозной хирургии.

Почему кто-то посмотрел именно на эту графу, я не знаю. В свое время даже

святейший синод не признавал полного тождества жидовствующей ереси с иудейской верой.

– Вы посмотрите, что получается, – волновался Хаим-Мордко. – Получается, что настоящие евреи, так они уже почти в бога не верят. Может есть на сорок дворов два-три старика, что они подают радио до бога, так это же ничего. Так приехали русские мужики, что они такие евреи, как я армян, но только они сдурели и хотят молиться еврейскому богу, хотя что он такой самый опиум, как все боги, и еще показывают здесь пример, бо они же фанатики...

## 5. Нет бога

Станица Бабстовская, километрах в двадцати пяти от китайской границы по Амуру, – глухая казачья станица, одно из первых и безнадежно темных поселений, основанных в 1858 году Муравьевым.

Вот что произошло в Бабстовской в 1929 году. Местный учитель, при поддержке нескольких комсомольцев, повел большую агитацию за то, чтобы под школу было отведено церковное здание. Он ходил с комсомольцами из дома в дом и доказывал каждому в отдельности, что нынче, мол, век науки и техники, а бог ни при чем. Он терпеливо вдавливал в головы сознание необходимости учить детей тем наукам, которыми живет и движется великий мир по ту сторону тайги. Он повел наступление на темноту, он осадил неприступные бастионы невежества, он вышел в рукопашную с традициями дедов.

И в один прекрасный день общее собрание граждан станицы Бабстовской постановило упразднить богослужения в церкви и отдать церковное помещение под нужды школы. В этот день необычайный ветер дул из тайги, тучи висели над хинганскими сопками, и деды предвещали целый ряд важных событий, в том числе, между прочим, и конец света.

В известной степени они оказались правы. Вот что в действительности произошло. Поп повел контр наступление на учителя. Поддерживаемый стариками, он тоже стал ходить из дома в дом и пустился доказывать всем, что, в сущности, никакой науки и никакой техники на свете нет, а если есть, то это соблазн. Он напоминал, что в Бабстовской церкви, «во матушке соборной церкви», – как поется в одной местной песне, – «за престолом спала и почивала мать пресвятая богородица». Он предупреждал, что она никак не потерпит, чтобы в ее опочивальню входила какая-то наука и техника.

В результате его агитации было решено опротестовать перед Далькрайисполкомом постановление схода о передаче церкви под школу. В качестве ходока в Хабаровск избрали одного из местных стариков – крепкого, непоколебимого солдата Кукина, который дойдет до края, помрет, а не сдастся. Дали старику на дорогу денег и сухарей, благословили крестным знаменем и иконой, и старик зашлепал по грязи. Он пошел к Амуру, где пристань и пункт пограничной охраны. Он явился на пункт в одно прекрасное утро и застал несколько человек военных – пограничников, моряков с военной флотилии, военных летчиков. Это были молодые, здоровые, веселые, молодцеватые и хорошо выправленные люди.

Старик рассказал им, зачем едет в Хабаровск. Они предложили ему подумать, не прав ли, чего доброго, учитель насчет науки и техники.

Старика повели к ангару, где стоял гидроплан.

– Дед, гляди! Вот эта штука летает все равно как птица. А почему? А потому, что наука и техника.

Я не знаю, какова была эта беседа во всех подробностях. Я знаю только, что старик дал себя усадить в машину и согласился подняться на воздух.

– Давай, что ж, – вспорхнем!

Шутники из отряда морских летчиков подняли старика на воздух и со сказочной быстротой умчали его на тот самый участок небес, под которым копошится славная станица Бабстовская с попом, с древними стариками, с грязью, с темнотой и с матушкой пресвятой богородицей, которая сияет и почивает в пресвятой бабстовской церкви. Старика поднимали в поднебесье, потом опускали вниз чуть не на самые бабстовские крыши. Шутник-летчик

понес его к его собственному дому, потом к церкви. Они чуть было не сели на крышу дома, где живет сам батюшка, они сделали несколько виражей над избой учителя. Все население высыпало на улицу. Ошеломленный дед узнавал своих знакомых, он видел свою собственную старуху и только жалел, что его никто не видит и не узнает из земных жителей, да и не подозревает никто, что в животе у этой тархтящей птицы сидит он, местный ходок, все равно, как Иона во чреве кита.

Покружив над станицей, машина снова взмыла под самые небеса. Все было чисто в голубом просторе. Было видно, как внизу тайга облегла долины и горы. Она была похожа на громадного зверя в пушистой темно-зеленой шкуре. Вдали сверкала серебром и голубизной величественная река.

Старик не заметил, как машина опустилась на землю. Веселый летчик велел ему выходить. Дед не знал, долго ли длился сумасшедший сон. Выйдя из аппарата, он увидел себя возле того самого контрольно-пропускного пункта, где познакомился с летчиком. Нет точных сведений насчет того, что именно думал дед. Собственно говоря, он и не похож был в эту минуту на человека, который думает. Он пустился назад в Бабстовскую. Не заходя к себе домой, он забежал прежде всего к попу.

Задыхаясь от злобы и волнения, старик Кукин кричал:

– Сам видел, своими глазами! Никого там нету!

Поп не понял ничего. Он подумал в первую минуту, что дед сошел с ума. Старик давал, впрочем, все основания для этого предположения. Он ураганом выбежал из квартиры попа и зашлепал по селу, крича не своим голосом:

– Вранье! Все вранье! Никого там нету! Сам был там, где ангелы живут. Никого там нету... Сам видел...

Он ходил из дома в дом и своим авторитетом ходока подтверждал, что во время разведки на небе им никакого бога, ни ангелов не обнаружено. Свидетельство такого почтенного и доверенного лица произвело в селе большое впечатление. Перед домом попа собралась кучка вчерашних верующих. Люди с остервенением кричали:

– Ступай картошку копать, долгогривый! Работать надо! Вон послухай, чево дед рассказывает: нету бога, одна наука и техника...

Так церковь и забрали под школу.

Второй раз писать предисловие к своей книге, конечно, невозможно. Но примечание необходимо: эта глава начинается со старика в автомобиле и кончается стариком на аэроплане. В этом может показаться что-то нарочитое, как бы специально устроенное. И правда! Но это специально устроено не автором, а эпохой.

Что поделаешь, когда время сумасшедшее? Вот стояла таежная пустыня нетронутой со времен библии. И пришли люди, обыкновенные саваофы в кепках, и стали ее тормозить и раздувать уголек жизни. И вот дед в автомобиле чуть не сталкивается со стариком в аэроплане.

– Деды отмерзают!..

Их встреча в главе об антисемитизме сулит, пожалуй, «отмерзание» и в тайге человеческих предрассудков.

Я тогда же, т. е. осенью 1929 года описал этот случай в журнале «Огонек». А летом 1930 года, будучи в Биробиджане, приехал я в новостроящийся еврейский колхоз Алексеевку и там повстречался со своим знакомым казаком Андреем Подойницыным.

Я спросил его, что поделявает Кукин.

Подойницын читал мое письмо в «Огоньке», но так как он не знает ни моей фамилии, ни моей профессии, то он и не подозревал, что я – автор. Он стал рассказывать мне с большим изумлением:

– Эх, чего только было, чего было!.. Ведь про деда Кукина в журнале напечатали!

– Да что ты? – изобразил удивление и я.

– А как же? Вывели-таки про него! И все написали, прямо до точки.

Нашему разговору мешали: подходили евреи и гольды-землекопы, и спрашивали у

Андрея про разные дела, – он инструктор здесь, – и все отвлекали от темы, а во мне она уже билась, как живая жилка: это всегда бывает с авторами, когда они вдруг видят, что среди жизни живут их произведения.

– Что же, однако, сказал старик? – спросил я.

Из слов Андрея я понял, что, повидимому, когда в станице прочитали «Огонек», то все изумились до чего дед стал знаменит, раз про него в самой Москве пишут. Но, повидимому, выдержать почтение к старику было трудно. Вообще, почтение – очень трудное и хлопотливое чувство. Поэтому над Кукиным стали посмеиваться, взяли его в иронию, в кавычки: так-то оно много легче.

– А старику, само главное, досада была, потому как сам он неграмотный, то не мог, само главное, прочитать, что же однако написано в том журнале «Огонек»! – говорил Подойницын. – Уж ему раз сто комсомольцы вслух читали, а он все не верил, все ему казалось, что не так ребята читают!

Опять нам помешали.

– Долго ходил он сердитый, – продолжал затем Андрей. – Видели все – старик что-то задумал, да не знали что. Уж наши старики знаете какие – с нашего деда все станет! Но между прочим положил Кукин конец в том, что пришел в эту самую церковь и стал учителю доказывать, что, мол, так и так, он об этой школе на небе хлопотал, а потому имеет желание сам учиться.

Андрей прибавил:

– Ходит он нынче в школу вместе со внучатами, за букварем сидит, грамоте учится. «Хочу, – говорит, – грамотным помереть!»! Уж он, положим, научился читать: тот рассказ почти наизусть выучил.

## Свет с Запада

### 1. Корейцы имени Либкнехта

От Тихонькой километрах в 1½–2 недавно выросла корейская деревушка. Называется она «колхоз им. Карла Либкнехта», а живут там одни корейцы. Им трудно произнести имя своего шефа. Если не боятся мошки и пойти от парома прямо через болото, то можно до корейцев добраться, примерно, за полчаса. Однажды я повел туда немецкого журналиста, с которым мы повстречались на Дальнем Востоке.

Был жаркий день, и комары усердствовали. Мы были счастливы, когда добрались до места.

У околицы под навесом стоит мельница: слепая лошадь, понуря голову, медленно ходит на привязи и вертит камни.

Воздух был прозрачен, и кругом стояла тишина. Лошадь покорно ходила и вертела камни. Глубокая древность человеческая, первобытное начало культуры стояло перед нашими глазами. Немец сделал несколько снимков. У него был карманный фотоаппарат Лейка – чудо техники. Двадцатый век запечатлел на снимке век каменный. Они встретились в корейской деревне в Биробиджане на берегах Амура.

Наше появление вызвало в деревне сенсацию, особенно благодаря невиданному туристскому облачению моего спутника. Детишки всех калибров организовали стаю и ходили за нами по пятам. Не одни, впрочем, детишки. У школы собралось немало и взрослых. Где-то для нас сварили кукурузу и принесли дымящийся котел. Это было кстати – мы хотели есть. Корейцы рассказали о происхождении колхоза: раньше они были батраками и работали у богатых корейцев на рисовых плантациях. Им было очень тяжело. Потом они ушли от своих хозяев, объединились в артель, получили от советов землю, ссуду, трактор и теперь хозяйствуют для себя. Теперь тоже трудно, но лучше, чем было.

А деревушка все же убогая. Почти кубические низенькие избушки, почти плоские

крыши, крытые камышом. Окна из бумаги вместо стекла. Дымовые трубы идут не из крыши, а из земли, рядом с домом. Это нище, но своеобразно и не похоже на другие деревни и почему-то настойчиво вызывает в памяти иллюстрации к давно читанным книгам о путешествиях Стенлея по Африке. Во всех домах хозяйством заведует бедность, но рядом с ней уживается и необычайная опрятность. Постели тщательно скатаны, перевязаны веревочкой и повешены на гвоздях на стенке, – спят и сидят на полу, на циновках, – мебели нет. Детишек много – это тоже примета нищеты. Старик Цхой улыбаясь объяснял, что артель состоит из одних бедняков:

– Каждый пришел со своими двома кулаки...

Этим он хотел сказать, что у них ничего не было, кроме своих десяти пальцев у каждого. Он потом прибавил, что теми же безоружными руками они создают себе хозяйство и оно позволяет им кое-как жить. А если нам мало того угощения, которое предложено, то можно помочь:

– Моя иди бабушка скажи, ему еще кукуруза вари.

Зато на другой год, когда мы приедем, будут рис и мед.

Я улучил минуту и стал брать уроки корейского языка у одной местной девушки. Я дал ей качан кукурузы, и она очень усердно принялась за преподавание. Она сидела у меня на коленях и заливалась хохотом, когда я коверкал и плохо произносил корейские слова. Ей было лет семь–восемь. Этаких учителей и учительниц вокруг меня набежало в общем лет на полтора.

А моему спутнику – немцу, не довелось научиться ни одному слову по-корейски. С ним вышло иначе. Пришел молодой парень-кореец. Он был без рубашки, босой, в одних брюках. Брюки были военного покроя, и голова у парня стрижена по-военному. Он так и оказался красноармейцем в отпуску. Он прослышал, что пришли чужие люди, журналисты, один из Москвы, другой даже из Берлина, и пришел знакомиться. Немецкий журналист был член коммунистической партии. Когда он сказал об этом, корейцы-колхозники окружили его и завели беседу. Немец говорил по-русски достаточно плохо, чтобы не бояться беседовать с корейцами – они тоже не бог весть какие ораторы на нашем языке. Красноармеец – тоже, хоть он и командир взвода.

Мне же детишки не давали покою. Они так возились вокруг меня, что я не мог вступить в разговор со взрослыми. Я даже не все слышал, о чем они говорили, – до меня доносились лишь обрывки фраз. Руководил беседой босой красноармеец. Он спрашивал, – я слышал, – как борется германская коммунистическая партия со своей оппозицией и с социал-демократами. Другие колхозники просили рассказать им, как растет безработица в Европе и чем она может кончиться. Беседа переходила с одного вопроса на другой. Это было осенью 1930 г., незадолго перед выборами в рейхстаг, и всех интересовало, каковы шансы коммунистической партии. Кроме красноармейца, все были пожилые. Они сидели на корточках, как сидят на востоке, посасывая крепкий табак из длинных трубочек, и на желтых лицах, обтянутых пергаментной кожей, лежало непроницаемое спокойствие монголов. Кругом была пустыня. Воздух был прозрачен и молчалив, как он бывает только в пустыне. Одинокая сопка, поросшая густым лесом, стоит неподалеку, и гранитная жила, как грандиозный шрам, перерезает ее сверху донизу.

По пути домой мой приятель долго и сосредоточенно молчал. Потом, когда мы обогнули болото, он присел на пенек и стал заносить к себе в записную книжку:

«Что знают немцы о корейцах? Ничего. Чем интересуется любой европейский крестьянин, кроме своих личных дел? В глухой тайге, за болотами, за стеной из комаров, советские колхозники-корейцы говорят о мировой политике и хотят знать о жизни германского рабочего и крестьянина. Революция заставила их чувствовать связь со всем трудовым миром. В этом ее сила».

Он прочитал мне записанное, встал, и мы пошли: дальше.

– В каком чине этот солдат? Что значит «комвзвод»?

– Унтер-офицер, – пояснил я.

Немец снова взялся за книжку.

«Что знает немецкий или любой европейский полковник о корейцах? Ничего. Он никогда ничего не слышал о них. Тем хуже для него, потому что в тайге советский унтер-офицер кореец очень хорошо все знает о нем».

## 2. Надо написать книгу

На Крайнем Севере и на Дальнем Востоке, как, впрочем, везде в Союзе, пушнину у туземцев скупают государственные организации. Они платят по твердым ценам и, в счет платы, выдают им по твердым же ценам товары и снаряжение. Но повелось это так с очень недавних пор. До революции пушнину скупали у туземцев перекупщики-китайцы и староверы. Покупали, конечно, с обманом. За соболей давали медные котлы, да так: сколько в котел влезет шкур, столько и надо за него отдать. При этом уминали шкурки кулаками и коленями, чтобы больше влезло. Были и другие приемы торговли, да где не доглядит охрана, они еще и сейчас существуют.

На стойбище к гилякам или к чукчам приезжает ласковый друг со спиртом. Приезжает он целым поездом в несколько саней, а на санях спирт и русские бабы-проститутки. Гость угощает чукчей спиртом совершенно бесплатно до положения риз. Когда спирт выпит, чукчи просят еще, но у друга больше спирта нет. Бедняки готовы все с себя отдать и в первую очередь предлагают пушнину. Но купец не берет: у него нет спирта, он не затем приехал, он не имеет чем платить, а даром он взять не хочет: совесть не позволяет обидеть друга-чукчу. Отчаянию бедных дикарей нет пределов. Гость уезжает, и с ним скрывается надежда получить еще немного спирта.

Но остаются женщины. И тогда начинается омерзительный торг, выворачивающий душу и совесть.

Проститутки все время пьянствуют вместе с туземцами. По отъезде хозяина они продают в обмен на соболей и песцов свою мочу, пропахшую спиртом. Когда на стойбище нет больше ни одной шкурки, они уезжают. В лесу их поджидает хозяин.

Смысл этой комбинации в том, что сам купец формально ни в чем не виновен и в глазах туземцев сохраняет престиж просто веселого друга, который рад угостить бескорыстно. А проститутки – с них что возьмешь? Да и нанимает он каждый раз других.

Трудно писать об этом: хотя давно известна отсталость чукчей и предприимчивость хищников-спекулянтов, все же такие дела плохо укладываются в человеческом разуме. Однако, все это мне рассказывали серьезные люди, наши ответственные работники севера. Значит, правда. Такие дела еще и сейчас живы, с ними еще приходится бороться.

Революция дала отсталым народностям школы. В Хабаровске есть институт, где учатся дети и молодые люди из туземцев Крайнего Севера. В Ленинграде тоже. В Хабаровске я посетил их школу. На партах сидели ученики разных возрастов – и десяти, и тридцати лет – и одинаково изумленными глазами рассматривали картинки в книжках.

У всех широкие приподнятые скулы и узенькие глазки. У народов севера узкие глаза, как у людей, которые еще не совсем проснулись.

Это было в начале учебного года. В углу, на звериных шкурах, брошенных на пол, спала группа только что прибывших с севера воспитанников – для них еще не успели приготовить места в общежитии.

Ученик чукча пел для нас песню. Он сидел посреди комнаты, туго упершись кулаками в колени. Широкие плечи поднялись к самой голове и тяжело нависли. Он сидел и, стиснув зубы, выводил странную мелодию. В первую минуту стало неловко оттого, что вот мы, несколько взрослых европейцев, сидим и всерьез слушаем это мычание. Но очень скоро странное чувство стало охватывать нас. Бесконечность ледяных морей и снежных пространств стала вырисовываться сквозь необычное пение. Это было настоящее искусство. Холодный мир Севера воплотился в звуки и зажил перед нами, и в этом мертвом мире жила одна маленькая трепещущая точка – певец. Его мелодия то еле просачивалась сквозь

стиснутые зубы и угрюмо уходила куда-то в землю, то вырывалась могучим звоном и билась в воздухе и играла. Мы были потрясены и заставили певца повторить три раза.

– О чем ты пел? – спросил я.

– Об моё жизнь и как я поехал учиться, – ответил чукча.

Он приехал оттуда, с Чукотки, куда еще так недавно русские привозили только спирт.

Теперь он учится. Скоро он кончит школу и вернется на стойбище учителем, организатором новой жизни. А быть может поступит в университет и вернется врачом.

Покуда он пел, в класс вошла молоденькая девушка с лицом монгольского типа, худенькая, щупленькая. Она была одета по-европейски: на ней было непромокаемое пальто, шелковая шляпка и туфли на высоких каблуках... Она оказалась гольдячкой с Урми. Она только что приехала с родины. Она тоже ученица. Она добралась с большим трудом: на Урми уже пошел лед. На порогах бросало. Она и сама не понимает, как уцелела.

Урми – небольшая, но совершенно дикая речка в Биробиджане, не только не судоходная, но едва доступная даже для лесного сплава. Она выходит из глубины тайги и на половине своего течения сплетается с реками Куканом и Тунгуской, а Тунгуска километрах в сорока от Хабаровска впадает в Амур. Берега Урми почти совершенно необитаемы. В шестидесятых годах прошлого века, когда в крае впервые появились русские, горсточка староверов поселилась на Урми в глубине тайги, в неприступном месте, куда очень трудно добраться. На десятки километров они – единственные жители здесь. Но еще выше их на несколько десятков километров по течению есть стойбище гольдов. Эти живут почти не выходя в цивилизованный мир. Охота и рыбная ловля составляют их занятия ныне, как пятьсот и тысячу лет назад. Простые и наивные люди! Они, по древней легенде, считают за счастье самое жизнь и ничего не ищут на земле. Им непонятны эти большие страсти, которые заставляют белых людей, хорошо одетых, хорошо вооруженных и у которых такие красивые пуговицы, приезжать к ним в Урми с риском для жизни.

Европейцу очень трудно проехать сюда. Гольды никак не соглашаются везти русских к себе: они боятся ответственности.

– Твоя сам езжай, моя вези могу нет. Твоя утони, моя отвечай не хочу.

Заведующий Инским участком Дальлеса рассказывал мне, с каким трудом убедил он гольда-лодочника проводить его по Кукану. Гольд ни за что не хотел ехать. Он страшно боялся. Наконец, опасаясь рассердить русского, он согласился. Однако, едва сев за весла, он стал бормотать что-то по-гольдски, а потом повторил по-русски. Это был разговор с Куканом.

– Слушай, Кукан! – жалобным голосом говорил гольд. – Моя первый раз иди. Моя изюбрь стреляй, сохатый стреляй, – все тебе отдай. Только не надо серди, не надо губи.

Повторив несколько раз свою просьбу не губить его, гольд вздохнул и налег на весла. Плавали целый день, но до места не успели добраться. А когда стало темнеть, гольд наотрез отказался ехать дальше: он боялся. Никакие увещевания не помогали. Бедняга затвердил одно, – что Кукан его дальше не пустит.

– Да ведь ты ж Кукана просил! – убеждал его пассажир.

– Моя днем проси, а вечером моя проси боюсь.

Гольды недаром боятся своих рек. Они менее отважны, чем русские, потому что больше русских научены опытом и знают, что такое Кукан и Урми. Они хорошо знают, как лодки закручиваются в сумасшедших водоворотах и как они разбиваются о крутые пороги. Гольды живут здесь давно, и на дне сумасшедшей речки, которая, в сущности, не речка, а длинный водопад, лежит не одна сотня их родичей.

Отсюда и приехала в хабаровскую школу щупленькая девочка с монгольским лицом. Она приехала учиться.

Я не занимался специальным собиранием материалов о том, что сделала революция с туземцами Севера и Дальнего Востока. Лишь случайно мне попадались встречи в пути.

Я познакомился с удехейцем Гялондзига со стойбища Ого, что на реке Хор.

Я мало знаю об удехейцах. Знаю, что они вымирают, что их осталась на Дальнем

Востоке небольшая горсточка. Знаю, что они питаются сырой рыбой и сырым мясом. Самое изысканное блюдо у них – сяйни. Этот деликатес готовится так: одна женщина жует ягоды, а другая сырую рыбу или сырое мясо. Хорошенько прожевав свою жвачку, обе сплевывают ее в одну чашку. К жвачке добавляется немного тюленьего жира. Все это размешивается и подается почетному гостю. Жевать ему уже не нужно – все прожевано. Остается только глотать.

Гялондзига рассказывал мне кое-что об их нравах.

– Бурят наша человек, туземса, – говорил он. – Ему кради не надо. Бурят кради, ему убей надо. Наши два удехе хунхузы пойдя – наша люди их убей.

– Ну, а если русский украдет или пойдет к хунхузам? – спросил я. – Его тоже убить надо?

На это у Гялондзиги был особый взгляд.

– Русский не наша человек. Мы русский учить не будем. Мы туземса следи. Казна говори – не надо убей, надо казна давай. А мы давай не хотим. Мы русский давай казна, а наша человек сами убей.

– Почему же так? – настаивал я.

– Потому казна ему убей не хоти, только тюрьма мало-мало сиди.

Удехейцы живут абсолютной коммуной. У них нет никакой личной собственности.

– Наша деньги нет, – говорят они. – Наша все мое-твое.

Все, что стойбище приносит с охоты и рыбной ловли, идет на общую потребу. Естественна и строгость в отношении нарушителей этого простого быта.

Гялондзига говорил мне, что ему доводилось встречаться с тигром, но он не боялся.

– Моя лыжи имей, а тигра лыжи имей могу нет.

Это преимущество позволяет ему без страха гнаться за страшным зверем, пока не убьют.

Мы часто и подолгу беседовали с Гялондзигой. Сквозь его наивные речи на ломаном русском языке я видел человека далеких времен, быть может каменного века. Мне чудилось минутами, что вот если отобрать у него ружье, отобрать нож и срезать медные пуговицы, то он будет как живой остаток дометаллической эпохи.

Но однажды Гялондзига бросил два слова, которые оказались, как фонари: они по-новому осветили жизнь. Мы говорили о болезнях. Конечно, на стойбище лечит шаман, но плохо. Незадолго до революции среди удехейцев появилась трахома. Удехейцы слепли сотнями и умирали в тайге от голода. Тогда-то и вымерло почти все племя, но на это никто не обратил внимания. И еще мы говорили о том, что иногда китайцы-контрабандисты силой или обманом отбирают у удехейцев пушнину. Гялондзига молчал, молчал, а потом сказал:

– Доктор Беленькая хорошо помогает. Ее лодырь нет. Ее много люди любви. Ее хороший бабушка.

Потом он прибавил:

– Так само Алексей.

– Какой Алексей?

– Из милиции. Китайца наша обижай, наша Хабаровск письмо пиши. Алексей приезжай, порядок делай, удехейцу защиту давай.

Никогда не видел я доктора Беленькую, ни милиционера Алексея. Я знаю только, что ехать на стойбище Ого нужно через станцию Бикин. Поезд приходит сюда из Хабаровска ночью. Отсюда надо несколько десятков километров проехать на лошадях, а потом километров триста в долбленном челноке через пороги и водовороты. Вот куда и как ездят доктор Беленькая и милиционер Алексей, новые люди, люди революции, – те, которые прокладывают мост между каменным веком и советской властью.

Надо, чтобы обо всех вехах кто-нибудь написал книгу, потому что это громадно. Это – Революция.

# Образы Биробиджана

## 1. Мурашов

Станица Столбовая в Биробиджане расположена от реки и от всех дорог очень далеко: много надо десятков километров ехать по тайге и по болотам. Станица облепила склон сопки. Впереди – равнинка, а там, дальше – болото и речка. Речка дикая, она кружит, делает петли и кольца и потом обходит сопку с противоположной, таежной стороны. В эту речку я упал с коня при переходе: был разлив. Меня вытащили. Обсыхать я поехал в Столбовую. Вечером в школе было собрание, посвященное дню индустриализации. Школа обосновалась недавно, – в доме выселенного кулака. В коридоре было темно. То тут, то там вспыхивал огонек цыгарки и взвизгивали девчата, но было совсем темно, видеть ничего нельзя было. Для собрания была комната с небольшой эстрадой. На эстраде висела маленькая трехлинейная лампочка. Там было почти темно, а в местах для публики еще темнее. Ожидали оратора из района, а он все не приезжал. Ждали долго. Кто-то сказал, что ждать долго не следует, потому что оратор мог, очень просто, утонуть в речке, или его могли задрать медведи.

Решили открыть собрание своими силами. Школьник прочитал два четырехстишия наизусть, другой сообщил, что ребята устроили огород, продали картошку и на вырученные деньги выписали газеты и журналы. В темноте кто-то кашлял густым, бронхитным кашлем. Было тускло. Потом учитель снял лампочку, подошел к стенке и стал читать вслух стенгазету. Номер был посвящен дню индустриализации. Учитель водил лампочкой вдоль строк и хоть плохо разбирал почерк, все же прочитал газету всю до последней буквы. Голос у него был хриплый. В стенгазете было про индустриализацию и опять про тот школьный огород и про выписку книг и журналов. Потом собрание было объявлено закрытым, и публика стала расходиться.

Рядом со мной на собрании сидел Мурашов, охотник. Мурашов носит длинный балахон из светлой кожи. Балахон был когда-то дохой из козули, но шерсть вся осыпалась и осталась одна мездра. Пять-шесть пучков шерсти осталось на ней, не больше. Этот балахон и большая шапка придают Мурашову страшный вид. Мурашов приходил ко мне днем – продавать ороченскую трубу на изюбря. Он сидел все время на собрании и молчал. Потом, когда выходили, я слышал в темноте, он сказал кому-то особым голосом:

– Вот мы нынче как жить стали: собрания, газеты! Вона! Да-а-а!

## 2. Завхоз

Иваненко, завхоз, выехал с приятелем в тайгу на кабанов. Когда приехали к месту, разделились и пошли в разные стороны. Потом Иваненко услышал в зарослях подозрительное порсканье и выстрелил. Раздался крик: Иваненко попал приятелю в живот. Непонятно, как все это вышло: разошлись как будто в разные стороны, а он вон где оказался: в тридцати шагах.

Иваненко бросился к раненому и стал перевязывать ему живот. На тряпки пошли рубашки, потом исподники – свои и раненого. Раненый кричал два часа, а потом умер. Иваненко посадил окровавленный и ободранный труп в седло, крепко привязал, надел ему ружье за спину, забрал свое и вернулся домой. Дома он отдал труп родителям покойного. На другой день убитого похоронили. Родители и кое-кто из близких покойного подозревали умышленное убийство. Иваненко, конечно, был виноват: он нарушил основное правило охоты – нельзя стрелять по невидимой цели.

После похорон Иваненко отправился в город.

Он попрощался с женой и ребенком и уехал. В городе он заехал на лесопилку, где уже давно заказал доски для новой постройки. Заказ плохо выполнялся. Иваненко устроил заведующему скандал. Он пригрозил ему рабоче-крестьянской инспекцией и судом, и особо

подчеркнул, что за срыв строительства такой заведующий вместе со всей своей лесопилкой может попасть на черную доску.

Потом он сел на лошадь и отправился в милицию – сообщить, что убил человека.

### 3. Директор совхоза

За обедом говорили о фазанах. Говорили, что их тут много в окрестностях, так как хлеб не снят с полей. Директор совхоза Голубев сказал, улыбаясь, что недавно ему довелось здесь охотиться на бескрылаго фазана и он его убил.

Директор совхоза был человек лет тридцати, с жиденькой рыжеватой бородкой. Он летом носил валенки, у него была впалая грудь, он кашлял. Я принимал его за белорусского еврея: он шепелявит в разговоре. Оказалось, он не еврей, а из волжских раскольников, бывший матрос. Как-то я спросил его о планах строительства на ближайший год и точно опустил монету в автомат: он сразу высыпал все относительно необходимости начать дорожные работы, снизить себестоимость и расширить посевную площадь. Было трудно остановить его.

Подробнее о бескрылом фазане рассказал завхоз, обедавший вместе с нами. Рассказ был прост: кулаки из соседнего села Ивановки организовали шайку и ушли в тайгу, в горы. Вместе с шайкой ушел кое-кто из рабочих совхоза. Этих Голубев больше всего боялся: как бы не навредили совхозу, не подожгли бы. Через некоторое время пастушок заметил одного из них вблизи совхозских построек. Голубев вышел тогда бродить по полям и бродил, покуда не заметил бандита. Голубев выскочил перед ним внезапно, прицелился и приказал поднять руки. При этом он назвал его фазаном: на Дальнем Востоке это считается ругательным словом.

– Ах ты, фазан! – воскликнул Голубев.

Бандит, однако, бросился навстречу ружью и получил пулю. Голубев сделал ему перевязку и снял полный допрос. Бандит сознался, что шайка затевает большие дела: совхоз предполагалось спалить в первую очередь. Голубев все это записал тут же в поле, сидя над раненым, и дал ему подписать. Раненый подписался и стал агонизировать. Голубев его пристрелил.

Это рассказал завхоз, а Голубев только добавил, что здесь участок трудный и много работы. Его очень тревожило, что двое бандитов еще где-то бродят. Остальных он переловил.

Во время беседы в комнату запыхавшись вошел рабочий и подал Голубеву записку: из Ивановки сообщали, что пришел один из бандитов. Голубев бешено приказал седлать. Покуда седлали, он круто поговорил с ветеринарным фельдшером: фельдшер, ссылаясь на нездоровье, отказывался выехать в Ивановку в колхоз, где заболели коровы. Он сказал также, что вообще боится показываться в Ивановке, потому что там кулаки сердиты.

Через минуту под Голубевым уже ерзала и рвалась его сумасшедшая лошадь. Он отдал какие-то распоряжения и пустился бешеным, идиотским галопом через болото. Это был кратчайший путь на Ивановку, но опасный. Здесь ехать шагом или рысью очень опасно: засосет. Надо лететь.

Я потом узнал от фельдшера, что было в Ивановке. Голубев прискакал к дому бандита и вошел, не обнажая оружия. Голубева водили по всем закоулкам. В погребе его легко было убить. Голубев обошел несколько дворов, но безрезультатно, и возвратился вечером ни с чем. Я слышал, как он сказал жене, что фазан улетел, но что он его поймает, потому что ночью фазан непременно вернется к жене. Голубев сказал, что фазан сукин сын и что ночью он ею непременно возьмет в теплой постели. После этого Голубев заперся у себя в каморке и приказал, чтобы ему не мешали, так как ему надо подготовиться к докладу. Через час было рабочее собрание по случаю дня коллективизации. Голубев выступил с докладом о пятилетнем плане. Потом он перешел к своему совхозу и говорил о необходимости расширить посевную площадь и построить дорогу.

В зале было, в общем, убого и темно. Стоял сизый дым от табака. Голубев кашлял. Но речь его лилась, как горный поток. Сухой кашель был, как пороги. Голубев говорил, как будет хорошо, когда удастся укрепить дорогу и снизить расходы по транспорту. Глаза у него горели, он преобразился, махал руками и почти не помнил себя.

Собрание кончилось поздно. Было совершенно темно. Собирался дождь. Голубев подождал, когда все разошлись, потом он велел седлать коня, и я слышал, как конь галопом понесся через болото.

#### 4. Шорник

Я жил на рисовой плантации. Был ненастный день. Вечером должен был состояться спектакль в рабочем клубе. Вечер был совершенно темный. Когда я сажился в телегу, там уже сидел кто-то, но лица невозможно было разобрать: было совершенно темно. Помню только, мужской голос сказал:

– Это я, Шушуев, шорник!

Тронулись гуськом – несколько пролетов, несколько верховых с фонарями и наша телега. Пути было километра два по дамбе, над крутым обрывом. Человек в телеге все время предсказывал, впрочем, довольно равнодушно, что если не на этом повороте, то на следующем непременно вывернемся и все равно на спектакль не попадем, потому что будем лежать в воде.

Все же доехали благополучно. Я пошел занимать место в зале. Зал был в рубленой избе, еле освещенной тусклой лампочкой; невысокая эстрада, занавес из двух пододеяльников. За занавесью шли неумолкаемые пререкания. Желтенькая лампочка бросала слабые блики на лица рабочих, в большинстве землекопов-корейцев... Было накурено: все курили тяжелый маньчжурский табак. В зал вошел безногий калека. У него обе ноги были отрезаны по самые колени. Остатки бедер были зашиты в кожаные чехлы. Я увидел его со спины. Фигура была коренастая, и фуражка молодецки свисала на левое ухо. Потом он повернулся лицом, – ему было лет шестьдесят, седая борода клинышком, но живые глаза.

Кто-то крикнул ему:

– Здорово, Шушуев!

Это, повидимому, был шорник, сидевший в нашей телеге.

Он подошел к корейцу, рядом с которым было свободное место на скамье, и, сказав:

– Ну-ка, Чомбаги, посади меня! – повернулся к нему спиной.

Кореец привычно поднял его подмышки и посадил на скамью.

Когда спектакль кончился, появился гармонист. Скамьи были вынесены во двор – осталось две-три у стен – и в публике пошли танцы. Гармонист играл сначала вальсы, потом польку-мазурку. Трактористы-евреи в болотных сапогах кружились с местными девицами. Две из них были корейки и танцевали очень робко. Вообще, танцы не клеились. Русские рабочие скучали, а корейцы угрюмо пыхтели длинными трубочками и о чем-то шептались между собой.

Потом гармонист заиграл русскую. Тогда стало веселее. Вышли милиционер и фельдшерица с платочками и плясали жеманно. После них вышла другая пара: завхоз и заведующая столовой. Становилось веселей.

Посреди зала оказался Шушуев.

Он на локтях спустился со скамьи на пол. Он выполз на середину комнаты и стал танцевать русскую. Обрубками ног он выбивал такт пляски. Он кружился, вертелся вокруг самого себя и шаркал своими страшными кожаными обшивками вокруг всего зала. Он распался. Пришло время пуститься в присядку. Он бросил палку и с шумом сел. Сидя, он зашаркал задом по полу и стал выбрасывать вперед свои обрубленные бедра. При этом он хлопал себя по раскрытому рту и по подошвам, т. е. по подошвам своих кожаных чехлов. Он гикал, свистел в два пальца.

Когда гармонист устал играть, Шушуев подобрал палку, пошел к скамье и попросил, чтобы его посадили.

## 5. Кабан

Было совсем глухо в тайге и поздно, когда показался тусклый свет. Он показался в темноте, как сквозь щелку. Это светила лампочка в придорожной избе. Изба оказалась почти пуста, – какая-то баба возилась старая и маленькая девочка, а больше никого не было видно. Баба сказала, что ночевать она пустит, но спать в избе невозможно: в той половине, где выбиты окна – холодно, потому что скоро зима, а в той половине, где окна целы, опять же спать нельзя, потому что там «богато клопа», – сказала старуха.

Спали на столах. На рассвете была возня на дворе, собачий гомон и фыркание коня.

Утром баба принесла умываться. Сквозь плеск воды доносились странные звуки: заунывная, тягучая мелодия мучительно билась где-то совсем близко, полная жалоб и упрека. Я отворил дверь каморочки: там стоял старый еврей в бороде, накрытый через голову талесом, и молился. На голове, чуть выше лба у него был привязан черными ремешками молитвенный кубик. Талес топорщился над кубиком, как над рогом. Еврей стоял лицом к стенке, размеренно кланялся и напевал библейскую молитву. На стенке висели портрет Ворошилова и две винтовки на одном гвозде.

В окно каморки постучали, какой-то необычайно большого роста человек поднес к окну громадную кабанью голову и сам прильнул к стеклу. Увидев молящегося старика, он быстро отошел.

Я вышел во двор. Там человек снова показал мне кабанью голову и повел в закуть – в закути стоял ящик, полный кабаньего мяса.

Человек ворочал руками кровавые куски, перекалывал их в ящике с места на место и все старался получше вставить меж них кабанью голову, застывшую с оскаленной пастью и выпученными глазами.

– Кады-ж плотняка, – как бы пояснял он. – Плотняка, сами знаете, какой народ: им мняса подавай.

Внезапно он воскликнул:

– Ох, и развязный же я охотник до кабанов!

Он вскочил на ноги и стал показывать, как стреляет кабана. Сначала он замер: как бы услышал порскание. Потом выбежал вперед на три шага, изобразил, как раскидывает сошки, как укрепляет бердану и как, быстро взяв на прицел, спускает курок. Тогда он прибавил:

– Щелк, щелк, щелкоток, шешнацать сбоку – наших нет!

Он сделал правым указательным пальцем опрокидывающийся жест, – падал убитый зверь, – и спокойно убрал воображаемые сошки и ружье.

Это был большой, длинноногий человек. У него на ходу угловато сгибались колени и туловище. Он был похож на складной аршин.

На дороге показался верховой. Его незаметно вымчало из самой чащи. Он несся к нам во весь опор. Длинноногий, увидев его, высоко поднял кабанью голову и закричал:

– Е-е-е-ссь!

Верховой, доскакав, спрыгнул с коня и стал быстро набивать мясом свои сумы.

Из дома вышел старый еврей. Его лицо хранило молитвенное выражение. Он подошел к всаднику и пытался о чем-то заговорить с ним по-еврейски, но тот не слушал: едва завязав торока, он вскочил на коня и ускакал.

– Представьте, кака возможность, – сказал длинноногий, – про свой же праздник люди забыли. Им чего старый человек, папаша, по-ихному говорит, а они знай свое.

Тайга стояла по обе стороны дороги непроходимая и глухая, цокали копыта под удалявшимся всадником. Длинноногий поглядел ему вслед и сказал:

– Тайгу пластают – плотняка они!

Потом он вспомнил:

– Ох, и развязный же я охотник до кабанов!..

Выбежал на три шага вперед, раскинул сошки, укрепил ружье и, едва взяв на прицел, спустил воображаемый курок.

– Щелк, щелк, щелякоток! – прибавил он.

По ту сторону избы громадный пятидесятицильный трактор «Коммунар» двигал лесопилку. Трактор стоял на возвышении. Он был похож на сказочное чудовище. Он, как язык, высунул невероятный станок и глотал могучие кедровые стволы, раскусывал их и выплевывал доски.

## 6. Перебежчик

На бирефельдской дороге, на таежном участке мы догнали одинокого пешехода. Я видел, как он выходил на дорогу из зарослей: мне показалось сначала, что странная птица порхает по кустам виноградника. А дотом оттуда вышел этот человек: я принимал за птицу его шляпу. Я видел издали: на нем отрепьями висела худая китайская одежонка – короткая куртка с широкими рукавами и неуклюжие китайские штаны, подвязанные у щиколотки. Человек был бос и медленно подвигался по глубокой и вязкой осенней грязи. Это был китаец. Он был худ и тощ, бескровная кожа была туго натянута на лице. Глаза и рот были неестественно широко раскрыты, точно кожа ссохлась от истощения и ее не хватает, чтобы достаточно прикрыть лицо. Ноздри были тоже необычайно большие и тонкие.

Человек подобострастно и испуганно улыбался нам и кланялся.

Это было вблизи дорожной избы. Мы остановились отдохнуть и поесть. Путник присел в сторонке на завалинке. Он ничего не мог нам ответить, куда и откуда он идет. Он не понимал нашего языка. Он все делал какие-то неопределенные жесты рукой в сторону тайги, где протекает Амур и лежит Маньчжурия, а другой рукой показывал в противоположную сторону. Было понятно без всяких слов одно: бедняга находился у предела сил.

Мы дали ему миску разогретых мясных консервов, кружку горячего чая. Было униженно от его животной радости. Мы видели, как внутри этого человека перестраивался мир. Ему издали показалась жизнь, и он узнал ее и радостно заморгал глазами ей навстречу.

Мы тронулись в дорогу дальше. Оборванец глазами и жестами спросил, можно ли ему сесть на одну из наших телег. Сел. В сумерки мы были в колхозе Бирефельд. Я не успел заметить, куда девался этот человек.

Я был утром в поле. В стороне от дороги строятся службы еврейского колхоза. Рядом живут в палатках рабочие – маньчжуры с китайской стороны.

В одной из палаток оказался вчерашний путник. Он приветствовал нас громкими восклицаниями на своем языке и подталкивал под локоть товарища. У товарища было лицо Будды. Будда сказал:

– Ему вчера плиди первый раз. Ему твоя мало-мало кушай давай!

Потом, показывая широким жестом на всю их артель, он сказал:

– Наша урбота-урбота плиди!

Он изобразил жестами их работу землекопов.

Это место отстоит от Амура на шестьдесят километров. Мы встретили перебежчика еще дальше. Первобытный инстинкт водил его по глухой тайге голодного, оборванного, ободранного, босого, без куска хлеба, безоружного. Стук нашего трактора вывел его на дорогу.

Моросил осенний дождь. Будда вышел из палатки проводить нас. Он говорил бессвязно и плохо. Он сказал, что у них на родине белый человек, начальник, не делится своей едой с такими людьми, как они.

## За козулей

Бирское опытное поле расположено приблизительно в географическом центре Биробиджана, – километрах в шестидесяти от железной дороги. Оно открылось только в 1928 году и является единственным пока исследовательским учреждением в районе. Опытное поле prepares строго научную эксплуатацию сельскохозяйственных возможностей Биробиджана. До 1914 года здесь был только пункт для метеорологических наблюдений, да и тот закрылся в годы гражданской войны. Теперь же опытное поле развертывает научную работу. Исследованы ячмень, пшеница, овес, соя, клещевина, суходольный рис, сахарная свекла, технические культуры и т. д. Оборудуются лаборатории, сушильни.

На Бирском поле имеются также тракторная станция и ремонтные мастерские.

Благодаря им в тайге горит электричество!

Будущее Биробиджана, прежде всего, в высших формах сельского хозяйства.

Экспедиция американских специалистов, посетившая Биробиджан в 1929 г. по поручению Икора (общество американских друзей еврейского землеустройства в СССР), определила, что «Биробиджан слишком хорошая страна для пшеницы». Здесь, по единодушному мнению ученых, надо разводить рис, сою, лен. Биробиджан благоприятен для промышленного животноводства, для широкой постановки молочного хозяйства и пчеловодства.

С пчеловодством сделан опыт. Он оказался весьма удачен: бирефельдское с. х. товарищество экспортировало в первый же год несколько тонн тончайшего цветочного меда.

На Бирском опытном поле пасака раскинулась на южном склоне невысокой сопки. У подножья, в небольшой комнате при омшанике, живет заведующий, Александр Акимыч, громадный, добродушный и гостеприимный рыжий человек. У него я жил все время, какое провел на опытном поле. Александр Акимыч заядлый охотник.

Да и то сказать, где еще на свете найдешь такое место для охоты, как эта пасака?

– У нас-то? Да что вы, шутите? – обижается Александр Акимыч. – Как пришло время тяги, – пожалуйста, сколько угодно: уток, гусей, кражней там всяких, бекасов хоть отбавляй! Приходит пора полевой дичи? Пожалуйста! – тетерева, куропатки, фазаны... А осенью? Только-только ржавеет лист и осыпается и шелестит под ногами, только-только кустарник начинает обнажаться – козуля бродит по окрестностям... А зимой? На сопках тебе и кабаны, и лось, и медведь...

При пасаке, кроме Александра Акимыча, живет сторож – украинец Михаил с женой Хвеклушей и молодой дочерью Маруськой, гражданкой грудного возраста и нестерпимо громкого визга.

Я спал за перегородкой. По ночам – чуть ли не каждую ночь – я слышал, как у сторожа что-то тяжело падало на пол, и тогда начинала визжать Маруська.

– Знов упала, нечистая сила! – флегматически замечала тогда Хвеклуша.

Это скатывалась со своей постели Маруська.

Утром, едва солнце снимет туман, в неясной голубизне неба видны очертания Хинганских отрогов. Лес наполняется утренними шумами. Тукают дятлы, поет иволга, скрежещет сойка, да вдруг, тяжело и суетливо хлопая крыльями, потянет с болота табун уток, или гусиная стая пронесется, плавно стелясь и шелестя в воздухе.

Александр Акимыч – заядлый охотник. У него несколько прекрасных ружей. Он заразил своей страстью и сторожа Михаила. Дичь, мед и медовый квас – главное питание этих людей. Они здоровы, как деревья, спокойны и добродушны. Хвеклуша одна не любит стрельбы и боится ружей.

– Нехай вони скажутся! – говорит она. – Як вин дудахне, так аж печенки мало не пообрываються.

Километрах в двух от пасаки, на реке Бирушке, стоит старожильческое украинское село того же названия. Среди украинцев поселилось в прошлом году и несколько еврейских семейств. Я был уже однажды проездом в Бирушке. Это было вечером. У меня осталось в

памяти множество громадных костров, горевших на улице и во дворах: жители спасались от нашествия комаров.

Я не полагал заезжать в Бирушку в этот раз. Меня туда привело случайное происшествие.

Как-то утром, после чая, сторож Михаил ушел в Бирушку в кооператив за покупками. Уходя, он, по обыкновению, захватил ружье:

– В лавку без ружья не пойдешь! Лесом иттить! Мало ли чего?

Вернулся он поздно, часа через два.

– Гдэ тебэ яка нечиста сила носит? За силью пошел та пропал! – встретила его жена.

Михаил молча плюхнул на стол соль, хлеб и прочие покупки, а также пару тетерок. Потом он сбросил ружье и стал ругаться:

– Ушла, така лыха година! Такэ стерво! Само ей пид хвост попал, а вона ушла!..

Это относилось к козуле. По дороге из лавочки Михаил стрелял козулю, но она, подраненная, ушла.

– Гдэ-сь она на сопочке, на там-той, що коло рички! Айда, берить ружья, – предложил он нам, – ходим облавой!..

Мне было поручено осмотреть сопку со стороны речки и села, а те пошли на болото и на лога. Я шел лесной опушкой и глядел по сторонам. Лес не очень густой, но гулкий. Уже лист падал, кружась. Когда человек падает вниз головой, он тоже кружится. В падении ему, может быть, чудится радость полета, потом он шлепается и валяется под ногами.

Сбоку багровела калина и доносился немолчный шум Бирушки. Небольшая речка, а все ворчит, и ворчит, и ворчит.

Козули не видать. Показались на дороге какие-то люди. Они были в чумарках из толстого домотканого сукна. Украинские бараньи шапки были у них нахлобучены на самые глаза, и говорили они по-украински. Мы повстречались и разошлись. Я не заметил этой встречи: я был занят мыслями о козуле. Я даже не подумал, что эти украинцы здесь, в тайге, находятся за десять тысяч километров от родины, – одинокие листья, оторвавшиеся от веток родимых. Потом сообразил, повернул и догнал их.

– Здоровы булы, дядьки! – крикнул я.

Я думал, они тоже будут хоть немного поражены и обрадованы, неожиданно услышав в тайге от незнакомого охотника родной язык. Однако они не удивились. Один, постарше, ответил мне по-еврейски:

– Шолом алейхем! Это не вы козулю убили? Тут, говорят, видели козулю, подстреленную у деревни.

Это оказались жители Бирушки, – двое старожилков-украинцев и один еврей.

В этот момент я совершил предательство: я дезертировал с охотничьего поста в ответственный момент и оставил поиски козули. Я понимал, что Александр Акимыч и Михаил презирают меня, но все же я не хотел упустить случая побеседовать и пошел с бирушкинскими.

Уже было видно и сельцо – белые хаты, крытые соломой, колодцы с журавлями, плетни из лозы, – совсем Украина.

– Ну, как? Жить можно? – спросил я у дядьки-украинца.

– А як же? – отвечал он. – Земля здесь добрая. Все уродить может. Только дуже запоганена. Порядку немає.

Еврей перебил его:

– Они уже тут годов пятнадцать живут, – сказал он, указывая на украинца, – и действительно знают, что земля хорошая. Жить можно. Трудно только.

У еврея была обыкновенная внешность украинского мужика: короткая чумарка, подвязанная красным кушаком, баранья шапка, тяжелые чоботы на ногах. Это был мужик с грубым мужицким голосом, но в говоре его было что-то не деревенское.

Он коротко рассказал мне кое-что из своей биографии. Он когда-то окончил университет. Накануне государственных экзаменов его исключили за участие в беспорядках.

С тех пор прошло лет двадцать пять. Теперь ему около пятидесяти. Он жил уроками в глухой провинции на Украине и занимался общественной работой. Вдруг разнеслась весть о колонизации Биробиджана. Он принял это на свой счет:

– Говорили, что это дикая страна, что это не для евреев дело. Поэтому я решил поехать.

– Ну, и как?

– Как видите, второй год живу, и ничего. Было, правда, очень круто – от ливней, от москитов, а главное от головотяпства. Многие разбежались, но я-то уж теперь знаю, что в Биробиджане, кто хочет работать, может жить. Ось забачите мою хату! – сказал он, внезапно переходя на украинский язык. – Найкраща хата на всему сели. И жинка моя работница! Як приехали, так зануждались. Жинка белье стирать ходила та понемногу заробляла. Ось мы и вытягнули. А тепер живем.

Я был у него дома. У него чистенький домик, опрятный двор. В доме никаких следов бывшей городской жизни, никаких перин в грязных наволочках, кроватей с никелевыми шариками, колченогих венских стульев, засиженных мухами олеографий. Ничего, никакого обоза из прошлого. Крестьянская мебель – скамьи, табуреты. В углу – гора еще не убранной картошки, кадка шинкованной капусты, венки луку, коса, топор, горшки у русской печки, кочерга. На стене полочка книг.

– А чем же тут, скажите, плохо, раз тут все есть? – сказала мне его жена. – Вот я на той неделе пошла к речке воду набирать. Зачерпнула, смотрю – в ведре две щуки. Тогда я сказала детям, они наделали себе крючков, пошли и принесли семьдесят две штуки рыбы.

– Ну, и что было?

– А что было? Половину соседям роздала, у кого не было времени итти самим наловить, остальное сами съели. Хватило на неделю...

– Целую неделю была пятница! А как же? – прибавила она смеясь. – Тут же от сотворения мира никто рыбу не ловил. Ну, и наплодилось.

Я потом побывал чуть ли не у всех евреев на Бирушке. Я видел чистенькие хатки украинского типа. Был я и в жалкой лачуге, вход в которую лежит через хлев. В маленькой комнатушке, где второго стула некуда поставить, живет семья из восьми душ, а в углу лежит теленок.

Отец и старшие дети были в поле, я застал мать и трех мальчуганов. Мать шьет. Она с утра до вечера шьет для заказчиков-крестьян. У ней желтое лицо, но в глазах ласковая живость. Она заметила, что у меня на куртке вот-вот оборвется пуговица, и стала ее пришивать. Теленок в это время повел себя скверно. Она сказала:

– Осенью будет дом. Мы будем строить дом.

Я взглянул на нее: у нее разбухли глаза от слез.

– Вы думаете, я плачу? – сказала она, смеясь через силу. – Нет, это так... Осенью мы будем строить дом. Тогда будет хорошо...

Я был еще у одного колониста. В семье восемь душ детей. Старшему – десятый год.

– Когда у нас будет вторая лошадь, – сказала жена, – здесь будет счастливая жизнь, потому что здесь можно жить как графы, потому что земля дает все.

Мне давно бросилось в глаза, что в Биробиджане евреи, осевшие на земле, гораздо уверенней относятся к своему будущему, чем на Украине и в Крыму. На что бы ни жаловались колонисты, – а уж жаловаться они умеют, – к природе края, к ее возможностям они относятся с уважением. Жалуются на бедность, на скудость поддержки, на недостаточность отпускаемых кредитов, на скверные дороги, особенно часто жалуются на скверные порядки, но насчет возможной будущей жизни никто не рисует себе картин, которые ниже графского достоинства. Мнение бирушкинской еврейки, что «здесь можно жить как графы» – распространенное мнение.

Я возвращался. Шел я вместе с несколькими евреями. У них были дела на опытном поле. Один из них, рыжий и низкорослый, отправлялся узнавать, когда отходит трактор в Тихонькую. Мы условились на завтра выехать вместе.

На прощание он сказал мне, хоть это и не относилось к разговору:

– В Биробиджане, чтобы вы знали, жить можно. Плюньте тому человеку у очи, кто скажет, что в Биробиджане нельзя жить. Здесь местность очень богатая. Всего здесь много...

Он запнулся, а я подумал – вот он скажет, как все: «всего здесь много, а только порядку здесь мало». Так оно и было.

– Только порядку нет! – закончил еврей. – А как – я вам расскажу в дороге.

По мере приближения к дому меня все больше охватывало предчувствие позорной головомойки которую мне зададут охотники. Михаил и встретил меня криком:

– Где же вы пропадали? Вже я думал, вы в речке втопились...

В голосе его было, однако, больше снисходительности, чем гнева, и это было убийственно. По счастью, козулю нашли, и не он с Александром Акимычем, а какие-то детишки, и трофей был водворен на пасеку.

Кроме того, всех нас ждал сюрприз: Хвеклуша в наше отсутствие подстрелила тетерку.

– Оде стояла я коло хаты с дытыною, – волнуясь рассказывала она, – удруг дывлюся – тетерка на дерево посила. Ну, що тут робить? И жалко, и никого в доме нимае. Ну, кинула я Маруську. Сиди, Кажу, Маруська, та мовчи! А сама побигла у комнату та схопила ружо. Ай, мамочко! Ще не знаю, як и зарядыть. Ну, зарядыла, стрелила, та-ак тая тетерка и хлоп. Ось вже вона жареная.

Славную охотницу чествовали хмельной медовой бражкой. Большая кастрюля, которую Акимыч гудящим басом называет ендовой, налита до краев и ходит в круговую по движению часовой стрелки. Часы не останавливались.

## С Аврум-Бэром

К отъезду стали готовиться с утра. Осенью в Биробиджане приготовления к отъезду начинаются с того, что люди встают пораньше, выходят и смотрят на небо.

– Солнце в рукавицах, будет дождь, – говорят они, кинув взгляд.

Иногда они смотрят на сопки и тоже заключают:

– Сопка дышит, – будет дождь.

Чаще всего, впрочем, гадать не приходится: когда жители выходят взглянуть на небо, они видят, что дождь уже идет. Он начался ночью.

В Биробиджане, на исходе лета, дождь начинается с ночи. Это – гнусная мокрая жидкость, процеживаемая сквозь мелкое-мелкое ситечко. Уже с утра он на полном ходу. Идет он целый день без перерыва на обед. Ночью, когда люди спят, он попрежнему бодро делает свое дело: он льет. И на другой день он также неумоимо сыплет как ни в чем не бывало. Он еще одну ночь умеет не спать и еще без передышки может цедить день. Иногда, на третьи сутки, он останавливается. Бывает, что на целый день, а то и на два и на три дня он исчезает куда-то, и его не видно. Одновременно убирают оловянное небо и ставят новое – наивное и голубое. По нему носятся белые облачка. Солнце шалит, как дельфин в море: оно то нырнет за облака, то снова выглянет, сверкнет ослепительной чешуей и снова нырнет.

Весело тогда путешествовать по Биробиджану. Вспоминаются детство и старый бородатый учитель закона божьего – Идя Белоконь. Он говорил страшным басом, и от него пахло чесноком. Он любил рассказывать, как бог устроил мир. Чтобы не быть голословным, он раскрывал первые страницы библии и, вода по ним корсетной фижкой из китового уса, которая служила ему указкой, доказывал нам ссылками на эту толстую книгу, что бог за шесть дней, да и то не полных, успел создать мир, т. е. небо, землю, леса, реки, зверей, птиц, рыб, растения и человека. А вот дома, платье и другие вещи с божьей помощью создали уже сами люди... Так, например, палку учителя сделал рыжий токарь Хаим. Сучки на ней, которые вьедались нам в спины, тоже он устроил. А миронянский лес еще сработал сам бог, и так он и стоит с тех пор.

Путешествуя по Биробиджану в не очень скверную погоду, видишь весь мир именно в том состоянии, в каком он, должно быть, пребывал в первую неделю мироздания. К концу шестого дня, когда бог решил, что пора и честь знать, надо в синагогу сходить богу

помолиться, его дела были закончены, вероятно, только вчерне. Не потому ли вот и здесь твердь земная еще не совсем отвердела, – она представляет довольно рыхлое болото. Да и вообще полного порядка еще не видно: горы хаотически нагромождены на увалы, перемешаны низменности с возвышенностями и холмы с оврагами. Вода тоже еще не организована: то ничего нет, а то ключи, речки, речушки, речонки и ручьи смешались в одну кучу и грызутся, как стая уличных собак. Первозданный беспорядок! Медведь, в поисках желудей, пересекает дорогу человека, как в садах эдемских, и орел в траве ищет фазана, как в Охотном ряду.

Так бывает в те мимолетные часы, когда дождь отлучится. Но вот он возвращается и снова приступает к делу. Опять нависает оловянное небо, скрывается солнце, скрывается вся тварь земная: все принимает такой вид, как будто мироздание начнется только через две недели. В костях делается мокро и сыро, и путешественник мечтает попасть хотя бы в крематорий, лишь бы пообсохнуть и обогреться.

День, когда мы уезжали с Бирского поля в Тихонькую, был обыкновенный дождливый день. С ночи шел дождь. Природа, вчера лишь веселая и спокойная, сегодня ходила с перекошенным и хмурым лицом. Так пьяница теряет человеческий облик на четвертые сутки запоя.

Мы думали выехать утром. Нас уверяли, что вот сейчас, сейчас, сейчас едем, но выехали мы только в пять часов вечера.

Поездки в Тихонькую – административный центр Биробиджана – играют громадную роль в жизни колонистов. Каждая подробность заслуживает описания.

От Бирского поля – шестьдесят километров. Но дорога такая, что ни пешком, ни верхом, ни в конной телеге пробраться нельзя. Единственная штука, которая здесь может проехать, да и то с трудом, это гусеничный трактор «Клетрак» в 45 сил. К нему прицепляются телеги, и на них возят всякую кладь, а также и пассажиров.

Трактор делает около пяти километров в час. Но он делает их так, как скаковая лошадь делает круг в 1 мин. 59 сек. Как лошадь не может сделать тридцать километров в час, так и трактор не может добраться до Тихонькой за 12 часов. Ему нужно двое-трое суток. Трактор прибывает на место на третьи сутки, если не произойдет в пути каких-нибудь особенно крупных аварий. Специалисты знают технические термины для определения характера почвы. Одними этими терминами они доказывают, что здешняя почва не может служить дорогой, если ее не замостить. Но замостить ее стоит дорого. Поэтому термины положили сбоку, а по дороге ездят.

Мы выехали поздно, потому что на Бирском поле ни в мастерских, ни на тракторной станции не было керосина. Ожидали, пока привезут из Тихонькой. Другой трактор вышел за керосином свыше недели тому назад, – ему бы пора быть уже давно, а его все не было. Наконец он явился. Приготовления были закончены около пяти, а часов в шесть мы были на так называемом Степном участке. Это несколько домишек, затерянных в степи, – здесь строится еврейский поселок. Тракторист сказал, что на сегодня довольно кататься. Сегодня наездили. Будет! Надо здесь ночевать. Делать было нечего: тракторист – капитан на корабле. Мы постучались в какой-то дом, и нас пустили ночевать. В дальнейший путь мы тронулись лишь в шесть часов утра и в восемь были километрах в десяти – в поселке Бирефельд. Здесь надо было взвалить на телеги две-три пустых бочки, и трактор снова застрял.

Еврей, с которым я познакомился в Бирушке, сидел на одной телеге со мной. Это был средних лет рыжеватый человек с насмешливыми глазами. Его звали Аврум-Бэр Ройтих.

– Вы обещали рассказать мне про непорядки, – сказал я, чтобы начать беседу, – но я их и сам вижу.

Я имел в виду работу трактористов. Я уже неоднократно слышал, что эти, в общем, хорошие парни не упускают случая полодырничать. Недаром их зовут здесь АТР, что значит – «автономная тракторная республика».

Но еврей понял меня несколько иначе.

– Это все ничего, – возразил он. – Что вы видите, что? Что страшные дожди? Никто не виноват! Старики говорят, что такое лето бывает раз в двадцать годов, значит, это не страшно. А мало есть в Расее таких мест, что раз в двадцать лет бывает засуха? Мы не видели в двадцать первом году, на Поволжье что делалось? Ну, так что? Так через засуху Поволжье не Поволжье? Кончилась засуха, и там опять хлеб родится. Так само в Биробиджане: кончатся дожди, и станет хорошо. Это просто еврейское счастье, что на наше счастье два года подряд такие дожди как раз, когда приехали евреи.

Мне очень, признаться, нравился такой дальнорский оптимизм. Я с удовольствием слушал этого переселенца, который обещал рассказать о порядках, т. е. жаловаться, а вот не жалуется. Такие встречаются не каждый день.

С не меньшим оптимизмом перешел он и ко второму бичу биробиджанских колонистов – к пресловутому «гноусу». Под этим названием здесь, – объяснял он, – функционирует целый «трест» невыносимых насекомых: оводы, комары и мошкара. Я даже не знаю, как описать это несчастье. У людей распухают руки и лица от комаров. Переселенка показывала мне младенца, все тело которого было покрыто волдырями и струпиями от «гноуса». Комары выются в воздухе столбами, как смерч, тучами. Еще страшней таежная мошкара. На охоте в тайге я несколько дней не мог умыться: было страшно поднять сетку, которой закрыто лицо. Охотник-казак, бывший со мной, забыл взять сетку и закрыл себе лицо портянкой. Конь, стараясь укрыться от мошки, уходит даже стреноженным, так что его и не найти. Лось влезает в воду всем корпусом, – только ноздри торчат. Медведь прячется на деревьях.

А человек почти не имеет средств борьбы с гнусом. Дым, правда, помогает, но не очень. Спят на чердаках, – это легче: гнус не залетает высоко. Но спать круглые сутки нельзя. Надо сходить вниз, а внизу погибель, внизу дымом вьется и стелется едкая гадина. Сознаюсь откровенно, знакомство с ней заставило меня очень испугаться за будущее биробиджанской колонизации, и я высказал это моему спутнику.

– Вам страшно, – сказал он, – потому что вы не видели, что было в прошлом году. В прошлом году было хуже. Но гнус отступает от человека. Вот заметьте, как он работает в тайге и в деревне как он работает. Где люди живут, где трава выкошена, – оттуда он уходит.

Эти объяснения я выслушивал очень недоверчиво: мы как раз въехали в тучу комаров. Я быстро натянул кожаные перчатки, опустил сетку, задымил трубкой – и все же сразу почувствовал зуд во всем теле. Меня поразило спокойствие спутников. Не без того, – они отчетливо ругались русскими словами, но делали это, не выходя из себя.

– Первое имейте в виду, – наставительно продолжал еврей, – что гнус от человеческого жилья отступает. А второе имейте в виду, что человек к гнусу привыкает.

Этому я совсем уж не поверил и не верил до тех пор, покуда не приехал в еврейский поселок Амурзет на Амуре. Я с непривычки надевал сетку, едва выходя на улицу, и то мне казалось, что комары меня заедят насмерть, а местные девицы щеголяли в коротких юбках и в платьях без рукавов, – так с голыми руками и ходили, и хоть бы что! Мой сложный накомарник с медной сеткой изрядно веселил их.

– За гнус чтобы вы не слушали и не верили: это чистый ничего, – говорил Аврум-Бэр. – Если нет порядка, то не гнус виноват и не дождь.

– В чем же, наконец, беспорядки?

Он отмахнул дым и взглянул на меня каким-то странным взглядом.

«А стоит ли тебе и рассказывать? – как бы спрашивал он. – Быть может, для тебя это так-себе, дорожный разговор от скуки? Тогда ну тебя к чорту! Для нас это вопрос нашей будущей жизни».

Очевидно, какой-то экзамен я выдержал, и Аврум-Бэр решил говорить.

– Вы хорошо присмотрелись до Бирефельда? – спросил он. – Вы все видели?

Кажется, присмотрелся. Как будто видел. Бирефельд строится на месте заброшенной старожильческой деревушки Александровки. От нее сохранилось одно-два старых здания, и вокруг них возводится еще 30–40 домов. Строительство здесь дается очень трудно, так как доставлять материал приходится с далекого пункта и по очень плохой дороге.

Однако строительство все-таки ведется. В Бирефельде образованы курсы еврейских строительных рабочих. Учась, они строят.

Правда, мне было не совсем понятно, почему для нового строительства выбрали пункт, отстоящий на пятьдесят километров от железной дороги. Колонизационная практика всего мира уже давно осудила такие приемы колонизации.

Даже Кузьма Прутков авторитетно указывал, что «никто не может объять необъятное».

План колонизации Биробиджана вызывает недоумение у всякого, кто попал в этот край.

– Так чтобы вы знали, что Бирефельд придется перенести с того места, – сказал Аврум-Бэр.

Я не понял.

– Почему это?

– А просто через то, что старожилы недаром кинули это место: там вода плохая, негодная, и мало. Так пришли наши озетовцы и схопились, что от старожилков осталась хата и сарай, и стали строить дальше. Так они строят и строят и строят... И уже целая деревня построена. А когда построена деревня и сельсовет, и школа, и больница, так теперь схопились, что нет воды и что отседова надо уходить. Через то и старожилы разбежались. Вода за две версты. Вы знаете, что значит в Биробиджане две версты? Это надо утром выехать с ведром и утром вернуться.

История показалась мне слишком глупой, чтобы быть правдивой. Увы, я выяснил впоследствии, что все это чистейшая правда. Строительство Бирефельда было начато без изучения местности, на «авось». Отсутствие питьевой воды выяснилось уже после возведения нескольких десятков построек.

Как это могло случиться? Но этот вопрос заводит очень далеко – в самую гущу того, что называется организационными неполадками и неувязкой.

Когда наша беседа дошла до вопроса о строительстве, трактор остановился. Он стоял, погруженный почти по самый кузов в топь.

45-сильный «Клетрак» застрял, не в силах вытащить две наших жалких телеги. Сколько ни пыхла машина, сколько ни ловчились трактористы – ничего не выходило, трактор не трогался с места. Пришлось отцепить заднюю телегу и разгрузить переднюю. Рискую совершенно погубить машину, трактористы двинулись и с трудом провезли одну повозку. Достигнув более твердого грунта, они ее отцепили и поехали за второй. Мы же, утопая в грязи выше колен и держа свои вещи на плечах, прошли пешком.

Около четырех часов дня мы добрались до барака, стоящего на 22-м километре. Здесь тракторист снова объявил ночлег.

– Если вечером поехать – погибнешь, – сказал он.

Отогреваясь у раскаленной железной печки, мы хлебали суп, приготовленный сторожихой. Аврум-Бэр пришел в благодушное настроение. Он улыбнулся каким-то своим мыслям и спросил меня:

– А вы в Амурзете были?

Я был там. Я плывал по Амуру в теплые летние дни. Однажды утром я увидел китайскую крепость Лахасусу у впадения Сунгари в Амур. В устье Сунгари дымил китайский крейсер, – это было во время конфликта. Китайские крестьяне, купцы, солдаты и детишки выбегали глазеть на нас в каждой деревушке, мимо которой мы проезжали. Промелькнули и русские станицы. А днем на советском берегу показалось новенькое село. Всего было возведено тогда несколько домиков.

– Еврейский город! – сказал мне капитан. – Видите, как ловко? Чуть не вчера была пустыня, а вот новый городок строится!

Домики привлекали свежей и игривой новизной. В бинокль были видны люди на берегу, сельскохозяйственные машины, два трактора. Строилась жизнь в тайге и пустыне. Вот оно куда забросило евреев из местечка!..

– И к тому же, заметьте – казаки и евреи рядом! – сказал капитан. – Это как в писании сказано: «И возлягут»... Вот не вспомню, кто возляжет. Словом, что-то вроде – мечи на

орала.

Капитан был в евангелии нетверд. Я, впрочем, догадывался, что он хотел сказать. Мне тоже казалось необычным это мирное соседство. Давно ли слово «казак» наводило панику на еврейской улице?

– Это и есть революция, капитан! – заметил я. – Она во всем сказывается.

– Уж это да! Как говорится, до кости проняла, – согласился капитан...

– Да, Аврум-Бэр, я был в Амурзете.

– А скачки вы видели? – ехидно улыбаясь, спросил Аврум-Бэр.

Ах, скачки! Это нечто анекдотическое! У него положительно злой ум, у Аврум-Бэра!

В Амурзете, в день закладки, были устроены конские состязания. На большом плацу евреи, только что прибывшие из местечка, скакали верхом на клячах с обвислыми животами. Евреи взмахивали локтями, причмокивали, били коней пятками и даже гикали. Они скакали, и кто-то доскакал первым. Он взял приз. Возможно, что это была осьмуха полукрупки «Золотая рыбка». Неважно. Важно, что скакали.

Многие, рассказывая об этом, держались за бока от смеха.

Знакомый казак, очевидец этого зрелища, ничего не хотел мне рассказать о нем. Он как докуривал цыгарку, так, бросив окурочек, махнул рукой и отвернулся.

А мне эта затея понравилась. Чем хуже скакали евреи, тем важнее было устроить для них состязание. Вот они приехали из ясных украинских равнин к подножию мрачного Хингана. Скорей на конь – и вскачь! Они покинули местечко – отчизну грыж и гемороя. На конь и вскачь! Из «людей воздуха» они должны сделаться людьми земли. Так – на конь и вскачь! Вскать! Вскать!

– Аврум-Бэр! Вы хотите сказать, что казаки смеялись? Мы уже видели, как в Крыму и на Украине крестьяне смеялись над евреями-земледельцами, а через год-два приходили к ним за советами и хозяйственными указаниями. Казаки скачут на лошадях свыше трехсот лет. Они скачут лучше евреев. Но евреи тоже должны научиться скакать и научатся. Это пустяки, что казаки смеются.

Аврум-Бэр делал отчаянные жесты обеими руками. Он хватал воздух, он дергался, он отмахивался, он хватал себя за грудь, закрывал глаза и затыкал уши.

– Я не за то говорю, что казаки тогда смеялись, как евреи скакали! Не за то! Я говорю, что казаки теперь смеются. Теперь они смеются.

– Теперь? Почему же теперь? – недоумевал я.

– Потому что теперь уже прошло полгода и уже построили в Амурзете сорок или пятьдесят домов и сельсовет, и школу, и вообще полный город...

Я подумал, каких материальных затрат, каких физических усилий и какой неместечковой стойкости должно было потребовать возведение полусотни домов на берегу Амура, особенно в такое время, когда с того берега дули ветры войны.

– Почему ж смеются казаки?

– Потому смеются, товарищ дорогой, казаки, – ответил Аврум-Бэр, – и потому, товарищ дорогой, евреи плачут, что когда была эта заклащина и эти скачки, так выходили на трибуну образованные товарищи из Озета и из Комзета, что они вожди на целый район, и говорили они за международную политику, и потом они сказали, что вот теперь не так строится жизнь, как раньше, на ура, через что погибает вся Приамурье. А теперь все строится по научному смыслу теории.

Аврум-Бэр увлекся своим рассказом. Он живо переживал все, о чем говорил. Слова о «научном смысле теории» он произнес с благоговением, медленно, чеканно и высоко подняв сухой указательный палец.

– И что же вы думаете? – продолжал он. – Теперь, когда уже с такими муками построен городок, так заметили, что там тоже нет воды. Так что теперь уже говорят, что Амурзет тоже придется переносить на другое место. Вот вам и скачки! – закончил Аврум-Бэр.

Это показалось мне совсем уж неправдоподобным. Как это на берегу Амура да нет воды? Однако я вспомнил: меня уже предупреждали, что со строительством Амурзета не все

благополучно. Я повстречался кое с кем из амурзетских администраторов и сказал, какое необычное волнение, пожалуй, даже умиление я; испытал, увидев еврейский поселок на далеком Амуре. К моему удивлению, товарищ не дал мне расчувствоваться.

– Не увлекайтесь только, – предупредил он меня. – Вы можете обмануться. Этот поселок выпадает нам боком.

– Однако?! – воскликнул я. – Почему так?

– Потому что он управляется и снабжается из Хабаровска. Без Хабаровска здесь нельзя и гвоздь вбить. А из Хабаровска сюда пароход идет два раза в неделю и приходит на вторые сутки. Кроме того, поблизости строительного материала нет, надо доставлять издалека. А дорог нет, и доставка обходится дороже материалов.

– Это неизбежно, – пытался я возразить. – Застройка пустыни, конечно, должна обходиться дорого.

– Но не с этого надо было начинать, – заметил товарищ. – С созданием Амурзета, который оторван и от Хабаровска и от Тихонькой, пришло ужасное распыление наших скромных средств и нашего административного аппарата. Надо было в одном месте строиться, а не растекаться.

– Что же руководило людьми, которые задумали строить Амурзет? – спросил я.

– Да что тут говорить! – как-то неловко отмахиваясь, ответил товарищ. – Все то же: спешка с идеей «большого Биробиджана».

Рассказ Аврум-Бэра относительно отсутствия в Амурзете воды тоже оказался верен<sup>4</sup>. Дело в том, что Амурзет расположен шагах в пятистах от берега. Хозяйственные учреждения и совсем далеко. Так что тащить туда воду из Амура трудно. Это особенно трудно потому, что берег здесь обрывистый, крутой. Взбираться на гору с водой очень трудно. Это еще тяжелее зимой, когда обрыв замерзает и взбираться скользко. Свои колодцы необходимы. В деревне нужен колодец в каждом дворе. Но исследование почвы на воду, давшее такие трагические результаты, как оказалось, было начато после возведения нескольких десятков построек.

Третий день нашего путешествия с Аврум-Бэром был полон всяческих приключений: два раза мы попадали в такие места, где опять приходилось перетаскивать телеги по одной. Трактор едва-едва не погиб. Мы видели трактора, застрявшие в пути. Они уныло мокнут под дождем, как туши богатырских коней. На дороге лежит поломанная дорожная машина, валяются лесные материалы, бочки керосина, ящики какой-то клади, сброшенные с потерпевших аварию тракторов.

Какая армия в панике отступала по этой дороге? Здесь церемониальным маршем прошло все то же головотяпство.

– Вы за телеграфиста слышали? – спросил Аврум-Бэр. – За еврейского телеграфиста?

Опять еврейский телеграфист! Эту смешную историю я слышал в Биробиджане не раз. Всякий уснащал ее подробностями по своему вкусу. В мае 1928 года, т. е. в первые же дни колонизации, едва только стали приезжать первые переселенцы, на телеграф при старожильческой казачьей станице Тихонькой был посажен телеграфист-еврей. В Тихонькую редко приходят телеграммы, много работы у него не было. Но когда бог оглянулся и кто-то ударил депешу кому-то из тихоньских жителей, телеграфист переписал ее по-еврейски.

Сделано это было неспроста: уже известно, что § 5 постановления ЦИК о колонизации Биробиджана предусматривает возможность создания в будущем национальной еврейской территории в Биробиджане. Правда, ЦИК ставит для этого условием успешность еврейской колонизации. А это дело хоть и достижимое, но все же очень трудное. Однако кто-то, повидимому раньше времени опьянев от идеи о «еврейском государстве», начал переселение евреев в тайгу с «коренизации» телеграмм.

---

<sup>4</sup> В 1931 г. в Амурзете найдена питьевая вода. В. Ф.

Все это похоже на анекдот. Для анекдота это весело, смешно и в меру глупо.

Но это половина анекдота. Вторая половина уже невесела и не смешна.

– Так еврейского телеграфиста посадили, а, например, помещения для переселенцев не приготовили! – сказал Аврум-Бэр. – Вы знаете, что это значит? Это значит, что когда моя партия приехала, – нас прибыло 165 человек, – так мы сошли с поезда, и шел дождь, этот настоящий дождь, и некуда было пойти укрыться, и никто нас не ждал, и барака не было и палатки не было, и ничего не было, и была погибель. Кроме еврейского телеграфиста, ничего не приготовили! Когда мы приехали, так они – Озет, значит, и Комзет и переселенческое управление – они стали хвататься за голову, что с нами делать, куда нас девать?! Хотели поместить нас в школе – не пустили. В клуб – не пустили. А тут дождь не перестает четверо суток, а кушать нечего, а спать негде, а кто болен, так болеть негде. Прямо было неприятно. Мы думали, раз нас везут, – значит, знают, куда везут. А вышло, что мы приехали на свою погибель.

Смешную историю с еврейским телеграфистом я знаю понаслышке. Но вторую, грустную половину анекдота я знаю не по одним только рассказам: я впоследствии нашел в Тихонькой, в делах Озета, переписку, которая слово в слово подтвердила рассказ Ройтиха: первые переселенцы, приезжая в Тихонькую по нарядам Озета и Комзета, не находили здесь ничего, кроме суматохи, дезорганизации и растерянности. Никто ничего не знал. Говорить было не с кем. Обратиться не к кому было. Местные работники, которым каждый раз подсыпали и подсыпали из России новые партии колонистов, не знали, что делать с этими несчастными, где их разместить, чем их накормить, куда их приткнуть на ночлег. А они все прибывали и прибывали. Я видел телеграммы, относившиеся, повидимому, к группе Аврум-Бэра. Я их списал.

Вот они:

2 мая 1928 года из Тихонькой телеграфируют в Хабаровск:

«Четверг прибывает 165 переселенцев тчк расквартировать невозможно тчк срочно вышлите палатки»

16 мая в четыре адреса:

«Тихонькой скопление переселенцев тчк помещений совершенно нет тчк четвертый день сильный дождь тчк люди болеют тчк настроение крайне напряженное тчк дайте срочное распоряжение занять клубы школы»

И 31 мая третья телеграмма:

«Фуража продовольствия совершенно нет тчк лошади переселенцы голодают.

Люди проехали десять тысяч километров, они провели в душных вагонах месяц, они доверились общественной организации, и вот переписка о помещении и продовольствии для них лишь заводится, когда они четвертый день мокнут под дождем, голодают и болеют.

Плановые переселенцы попадали в положение беженцев, за которыми гонятся по пятам слепая и яростная стихия. А стихия эта была все то же обыкновенное головотяпство.

– Я вас только спрашиваю, – закончил свой рассказ Аврум-Бэр, – зачем мне весь той еврейский парад и гвалт с телеграфистом вместе, если здесь была такая неприятность, что это чудо, как мы не подошли?

Аврум-Бэр сказал – «такой неприятность». Он плохо говорит по-русски.

– А почему вы меня не спрашиваете, откуда я еду? – спросил он.

Он, повидимому, решил меня донять.

Мне было известно, что он живет в станице Михайло-Архангельской, километрах в двадцати за Бирским полем. Там, среди казаков, расселилось несколько еврейских семей. Меня все время занимал вопрос, – какой был смысл забрасывать колонистов в беспросветную глушь горсточками? Чего можно ждать от кучки в пять-шесть местечковых евреев, вкрапленных в старожильческое казачье село, прокисшее и проявленное в косности и рутине и прозябающее где-то в бездорожной тайге? Для всякого ясно, что в такой трудной стране, как Биробиджан, колонизационное пионерство должно вестись большими и мощными ударными группами, к тому же хорошо технически вооруженными. Если есть в

Союзе место, где крупный колхоз является единственной мыслимой формой освоения земли, то это прежде всего Биробиджан. И начать надо, казалось бы, с участков, наиболее выгодно расположенных в отношении железной дороги.

Но увы, вопреки элементарному здравому смыслу, 800 евреев-земледельцев, осевших в Биробиджане к осени 1929 года, были разбросаны в 12 пунктах. В иные отдаленные места попали кучки в пять семейств.

– А что нам было делать? – сказал Аврум-Бэр. – Мы приехали в Тихонькую и увидели, что ничего нет, что погибель. Большая часть поутекали назад до дому. Другие, у кого есть ремесло, поужезжали в Хабаровск, в Благовещенск, во Владивосток, – работа везде есть. Кто знает специальность, тот на Дальнем Востоке не пропадет. Но есть же такие, которые ремесла не знают и назад вернуться не имеют куда. К примеру, я. В местечко я не могу вернуться, хоть зарежьте меня с ножом. Специальности я не имею. Никто, я вижу, не знает, что с нами делать. Земля или, – как они говорят, – фонды не приготовлены. Жить негде. Что мне было делать? Стоял я на дороге в грязи, и шел дождь, и я плакал, как ребенок, и смотрел по сторонам, и не знал, куда податься. Вдруг, я вижу, едет дядька с бородой. Разговорились, познакомились. «Езжай, – он говорит, – до нас. Там себе квартиру снимешь, и там земли сколько хочешь». – «Куда до вас?» – «У Михайло-Архангельское». – «А где Михайло-Архангельское?» – «А Михайло-Архангельское это всего восемьдесят верстов». Ну, что мне было делать? Я поехал, и нас еще поехало семейств восемь. Вот мы там и живем.

Вот как и вот почему переселенцы рассыпались кучками. Вот почему они живут в 12 местах, из коих 9 старожильческих, разбросанных по всему Биробиджану. Мне раньше казалось, что был неудачно составлен план колонизации, но дело обстояло гораздо менее хлопотно: просто не было составлено никакого плана.

Случайность – вот кто стал во главе биробиджанского строительства.

– А теперь посмотрите, что вышло, – сказал мне еврей. – Вышло, что раз нас рассеяло и развеяло, то Озет уже должен гнаться за нами по всему Биробиджану. В прошлом году агрономы имели одну работу: возить на тракторах продовольствие по всему Биробиджану. Пять человек живут здесь, а еще шесть человек живут еще за двадцать верстов, а там дале снова четыре души забились. Это и была вся работа.

Этот день был третьим днем нашей совместной езды с Аврум-Бэром. Для Аврум-Бэра это был пятый день путешествия: он день шел пешком из своего Михайло-Архангельского до тракторной станции на Бирском поле и еще день ожидал там отправления трактора.

– Зачем вы едете в Тихонькое? – спросил я.

– Я еду в Тихонькое за справкой. Мне надо узнать, прибыли уже лошади из Сибири или нет. Очень мне без коня плохо.

Он и сам, кажется, не отдавал себе отчета в бездарной трагичности своего положения. Между тем, вот простой расчет: Аврум-Бэр потратил пять дней на дорогу в один конец. При удаче – у него уйдет только пять дней и на обратный путь. Итого десять дней уйдут на наведение справки. Был октябрь. В Биробиджане в октябре разгар полевых работ. Десять дней Аврум-Бэра были вырваны из самого дорогого и напряженного месяца, когда надо подымать целину, пахать, сеять и делать все поскорей, поскорей, поскорей.

Плановость ревнива. Она не любит, чтобы ей изменяли. Колонисты тяжело и горько расплачиваются за то, что заселение дикой и необследованной страны было поведено без изучения и без плана.

На поднятие целины, на распашку и вообще на прямые и производительные нужды было за первые два года затрачено меньше тракторной энергии, чем на разезды по злосчастной дороге, на поддержание связи с далеко раскиданными колонистами, на доставку им продовольствия, строительных материалов, керосина, на развозку их самих и работников администрации.

Там, где нет плана, там царит хаос.

В тот момент мы с Аврум-Бэром еще не знали, что лошади из Сибири не прибыли. Мы узнали это лишь назавтра. Поездка Аврум-Бэра оказалась, ко всему, напрасной. Его дорогое

время было выброшено непроизводительно. Бедняга был совершенно безутешен. Даже этот здоровый оптимист проклинал свою судьбу.

Десятки тысяч дорогих рублей валяются вдоль бирской дороги в поломанном и уничтоженном виде. Еще больше уходит на вынужденные, но лишённые смысла разъезды. Если бы часть, только часть этих бесславных затрат употребить на установку хотя бы самого плохенького полевого телефончика или старенького телеграфного аппарата, то и Аврум-Бэр мог бы не гонять впустую десять дорогих дней, и на Бирском поле не сидели бы без керосина, и работники наших организаций не покидали бы свои места на недели, отлучаясь по самым незначительным делам<sup>5</sup>.

Но телефона нет, а почта развозится теми же тракторами. Наиболее разбитые места дороги засыпают глиной, а потом снова поневоле пускают тяжелые тракторы с сотнями пудов груза и снова их разбивают. Бесчисленные починки уже обошли дорожку, чем должна была бы стоять новая дорога, а проезда нет. Ухабы и топи съели сотни тысяч, а переселенцы и Оэет имеют топь и ухабы.

Виноваты, однако, не местные работники. Если бы были виноваты два, три, десять человек, дело легко было бы поправить, заменив одних людей другими. Но надо признать по совести, что большинство местных представителей Комзета, Озета и переселенческого управления работают, каждый на своем месте, добросовестно, многие и самоотверженно, не помня себя, до полного изнурения. Если они и делают ошибки, то в средних, неизбежных и терпимых размерах.

Виноваты не люди, работающие на месте в Биробиджане, а основной неправильный подход со стороны организаций, руководящих делом. Нельзя было и думать приступать к колонизации необжитой тайги без предварительного изучения каждого предположенного к освоению участка; без подготовки его к принятию оседлого населения; без составления обдуманного плана; без соизмерения своих задач с реальными возможностями и средствами; без согласования работы органов, посылающих переселенцев и принимающих их на месте. И, конечно, нельзя было устраивать биробиджанских колонистов иначе, как на началах крупного колхозного строительства.

Уже в 1928 году раздавались предостерегающие голоса о том, что надо создать рабочие батальоны из еврейского молодняка, надо их руками предварительно подготовить хотя бы один опорный участок колонизации, – осушить болота, прорыть колодцы, провести дороги и построить жилища.

Прежде всего – жилища: Биробиджан не Крым, где можно шесть месяцев в году ночевать в землянке или в шалаше, или даже под открытым небом. Плановых семейных переселенцев можно посылать в Биробиджан на жительство, лишь построив жилища и подготовив тайгу к приему оседлого населения.

К несчастью, мысль о предварительной подготовке была отвергнута.

Трудность одоления тайги, болот и бездорожья была возложена не на рабочие дружины из выносливого молодняка, а на обыкновенных семейных евреев с грыжами, гемороем и беременными женами. Их стали свозить в Тихонькую непосредственно вслед за опубликованием постановления ЦИК о колонизации. Постановление было вынесено в марте 1928 года, а в начале мая в Тихонькой, у подступов в гулкую тайгу, уже толпились сотни неведомо зачем и почему наспех мобилизованных евреев.

Здесь они сталкивались с трезвой изнанкой той псевдонациональной шумихи, которая поднялась вокруг Биробиджана. При наличии трех плановых организаций – Озета, Комзета и Переселенческого управления – фактическим руководителем еврейской колонизации сделалась стихия.

Что тут поделаешь? Что требовать от отдельных, даже самых героических работников, раз их поставили в условия, при которых не они управляют делом, а дело управляет ими?

---

<sup>5</sup> В 1931 г. все населенные пункты Биробиджана связаны телефоном. В. Ф.

## Баракы

В Тихонькой я попал на заседание комиссии по разгрузке переселенческих барачков.

Я никак не думал, что эта своеобразная и неожиданная работа столкнет меня с такими важными пружинами биробиджанского дела.

Старожильческий поселок при станции Тихонькая Уссурийской дороги является как бы воротами Биробиджана. Сюда рано по утрам приходит поезд из России. Здесь высаживается переселенец. Он не спал всю ночь, – он волновался: вот, наконец, заканчивается долгий и неудобный путь. Уже около десяти тысяч километров осталось позади. Далеко-далеко родное местечко, его нищета и безнадежность. Пронеслась мимо окон необъятная страна. День за днем, ночь за ночью мчалась она перед окнами, и конца ей не было видно. Неслись степи Сибири, извивались ее грандиозные реки, разливались ее озера, гудели ее леса, ее пугающая тайга. Прошло три недели. Отодвинулся назад Байкал, пробежало Забайкалье, его строгие горы, его безлюдные равнины, его светлые березовые чащи на опушке хвойной тайги; они похожи на седую ость в темной шкуре бобра. Еще неделя тяжелого пути, и вот он, Дальний Восток! Таинственный и суровый край! Горы чередуются со степями на его бесконечных пространствах. Тайга, болота и безлюдье.

Вот и станция Облучье. Здесь начинается Биробиджан. Хинганский хребет сумрачно навис над дорогой. Горные вершины выглядывают из-за туч.

– Чей это поезд свистит в вековечном покое? Кто это там едет вниз? – как бы спрашивают они.

– Я! Еврей! Еврей из местечка! Я еду сюда по важному делу: я еду жить, строить жизнь.

Свыше миллиона душ еврейского населения осталось после революции в пределах бывшей черты еврейской оседлости без средств к существованию. В иных местностях семьдесят процентов трудоспособного населения осталось без работы. Их существование было непостижимым чудом. Впрочем реальность удачно боролась с этим чудом: появились грозные симптомы физической вырождаемости еврейского местечка, превышение смертности над рождаемостью и особо высокая смертность среди детей.

Когда советская власть открыла евреям доступ к земледельческому труду, то переход их на землю сразу принял массовый характер. Лавина обнищавших, деклассированных людей, стихийно потянувшихся к земле, сразу перехлестнула через все плановые цифры. В 1920 году в Союзе было 35 тысяч евреев-земледельцев, в 1924 г. – 92 тысячи и к началу 1929 г. – 200 тысяч. И как ни значительны эти цифры, они показывают лишь количество евреев, которым удалось получить землю. Это количество неизмеримо меньше числа желающих перейти на земледельческий труд.

Переход этот тяжел и мучителен: еврей – горожанин. А для горожанина стать земледельцем – значит взять все свои привычки, традиции и потребности и поломать каждую в отдельности о колено, как ломают щепки.

Еврей едет в Биробиджан, в тайгу. У него важное дело: он едет жить.

Когда после месяца, проведенного в вагоне, часов в шесть утра он робко выходит на станции Тихонькая, он видит кирпичный станционный домик, скучную водокачку, пакгауз, хмурое небо. Приехали!

По ту сторону полотна одинокие домишки и шагах в ста большое деревянное здание. Это – переселенческий барак. Здесь переселенец найдет приют, покуда ему выправят бумаги и укажут, где именно находится его надел и как туда проехать.

По положению, переселенец может провести в бараке не больше трех дней.

Какая же тут разгрузка, казалось бы? Неужели даже за три дня образуется затор?

Но трехдневный срок существует только на бумаге. Люди живут в этих бараках – будет

точнее, если я скажу – люди в них гниют по два, по три месяца<sup>б</sup>.

Внутри барака построены нары в два этажа. На обоих этажах в невероятной скученности и грязи валяются вповалку десятки чужих между собой людей. Здесь и холостяки, и молодые женщины, и старики, и многодетные семьи с грудными младенцами. У каждой семьи свой примус; целый день здесь стоит шум, смрад и грязь. Все нервны, все кричат, все ссорятся между собой. Это не переселенческий барак. Это даже не беженский привал и не пересыльная тюрьма. Это – краткосрочные, ускоренные курсы по подготовке в сумасшедший дом...

Комиссия по разгрузке заседала в канцелярии переселенческого управления. Барачных жителей вызывали в кабинет заведующего.

Первыми вошли девять юношей и одна девица. Они приехали с Украины. Отделение Озета в их городе командировало их в Биробиджан для поступления на авто-тракторные курсы. Поднятые волной юношеского идеализма, они поехали в далекий край, как пионеры будущей новой жизни. Дома им устроили общественные проводы. Говорились речи и атели знамена. Но все оказалось впустую, потому что прием на курсы был закрыт четыре месяца тому назад, о чем Озет был извещен.

Но десять человек проделали утомительную дорогу. Они провели месяц в пути.

Им предложили поступить на службу в Дальлес: там нужны конюхи. Они не хотят быть конюхами в Дальлесе: их прислали строить национальное государство. Они хотят быть трактористами в национальном государстве. Или пусть дадут им деньги на обратный путь.

– Эти люди вернуться домой и будут проклинать Биробиджан, – шепнул мне товарищ, сидевший рядом со мной. – Но кто здесь виноват – Биробиджан или безголовье? Впрочем, они жертвы только одной из разновидностей головотяпства провинциальных Озетов. Разновидностей много. Еще увидите.

Повидимому, разновидностей головотяпства и впрямь немало.

Вошел коротконогий пожилой еврей в порыжелом пиджаке.

– Почему вы сидите второй месяц в бараке?

– Мне плохо, – ответил еврей, – и моя жена хочет моей смерти, зачем я привез ее сюда. Потому что я жестяник, – добавил он после маленькой паузы и пояснил – жестяником я могу быть дома. Сюда я приехал, потому что мне обещали землю и хозяйство, а я ничего не вижу. Говорят, там, где будет мой участок, там теперь болото, и туда нельзя проехать.

Все молчали. Еврей продолжал:

– Зачем меня привезли сюда? Я хочу домой и я хочу корову.

Сказав это, он большим и указательным пальцами медленно отер нижнюю губу и сел: он кончил. Он подождет, пока приведут корову.

Никто не знал, что с ним делать: земельные фонды действительно не подготовлены, и девать этого человека действительно некуда. Прошлогонья беда продолжается.

Еврей сам нарушил неловкое молчание:

– Вы мне пока напишите ордер на корову, а я скоро приду, – сказал он и вышел.

– Как этот попал в беду? – спросил я соседа.

– Это – тоже жертва головотяпства, – пояснил он. – Как видите, он человек пожилой. Ему здесь трудно. Кроме того, он и сам говорит, что может быть жестяником дома. Значит, ему в Биробиджан и не нужно. Но человека подняли и послали. Теперь он на нас в претензии, – почему нет коровы и нет дороги, и нет земли, и почему дождь...

Следующей в кабинет вошла маленькая, бледная, худосочная девочка лет десяти. На щупленькие плечики был наброшен полушубок. Из-под него выглядывала рубашонка – платья не было никакого. Она робко вошла и стала у стенки. За ней вошли еще пять таких же девочек. Они были в лохмотьях. На них были рваные кофты или старые драповые пальто,

---

<sup>б</sup> В 1931 г. бараки перестроены по принципу гостиничной системы: коридор, отдельные комнаты, койки вместо нар. В. Ф.

рваные сапоги, дырявые валенки или галоши на босу ногу. Старшей было лет пятнадцать. У всех были бледно-синие лица и мутные глаза. Они имели вид больных, поднятых с постели. Они тоже стали у стенки. За ними вслед вошел юноша лет восемнадцати со смуглым лицом и горящими черными глазами. Его дергала странная судорога: она кривила ему лицо и подбрасывала левую руку. Он стал у печки. После него появился в дверях уродливо долговязый парень со страшными дегенеративными глазами: они были разного цвета и беспрерывно бегали вправо и влево. Вслед за ним просунулся в дверь сутулый одноглазый старик в зеленом пальто до земли. У него было грустное и как бы виноватое лицо. И наконец, замыкая шествие, вошла пожилая, длинная, худая, оборванная еврейка, с выпученными глазами и со вздутым животом, – мать этого семейства.

Окинув всех нас взглядом, она вышла немного вперед и стала представлять монотонным голосом.

– Вот это мои девочки. Они болезненные, – пояснила она. – Если не лечить их сейчас как следует, то у них у всех будет чахотка. Вот это мой мальчик. Он нервный. Он стал нервный после погрома. Он испугался, когда резали дедушку. А это мой старший сын. У него, извините, глаза как у Александра Македонского, – один светлый, один темный, но он все-таки видит. Хотя плохо, но все-таки он видит.

«Что это еще за глаза Александра Македонского?» – недоумевал я и вспомнил, что, кажется, действительно, у полководца были глаза разного цвета.

Чуть-чуть повернувшись и указывая кивком головы на старика, который неловко топтался и прятался позади нее, еврейка бросила:

– Муж.

Закончив представление, она сложила руки на животе и неподвижно уставила свои выпученные, как бы остекляневшие глаза в одну точку.

Воцарилось тяжелое молчание.

Как попали сюда эти люди? Кто прислал их бороться с тайгой?

Еврейка сказала наконец:

– Мой сын, у которого глаза как у Александра Македонского, дома чесал шерсть и приносил в дом заработок. Дай бог, чтобы все дети приносили такой заработок.

Сказав это, она опять умолкла и опять уставила неподвижный взгляд в одну точку. А мы продолжали сидеть, попрежнему не зная, что надо сказать. Старуха опять заговорила:

– Мне пятьдесят лет. Ну, может быть, сорок девять лет. Но меня еще ни разу в жизни никто не обманул. Вы слышите? Ни разу в жизни! Но здесь...

Она перевела дух:

– Здесь меня обманули...

Мы молчали.

– Потому что у нас в местечке, в Тальнике, нам обещали землю и говорили: «Езжайте в Биробиджан!» И вот мы приехали, и мы гнием в бараке и голодаем. Мы проели все с себя и теперь мы хотим домой.

Помолчав, она продолжала:

– Мы здесь десять дней, и уже пять дней, как мы кормимся милостыней. Мы собираем подаяние. Отпустите нас домой!

У нее был сухой, деревянный голос. Она говорила медленно, монотонно и тихо, все время не отводя взгляда от какой-то точки за окном. А за окном с утра шел холодный дождь. Она говорила, не глядя на нас, а подняв голову над нашими головами, и неподвижно смотрела за окно. У нее был вид помешанной. Восьмеро детей безмолвно теснились у печки. Муж понуро стоял в стороне. Я давно не видел людей, которые были бы так пропитаны горем.

– Вот видите, – как бы оправдываясь, сказал мой сосед, – кого нам сюда присылают!.. Из Рогачева была прислана целая партия таких инвалидов, – хромые, слепые, глухие, эпилептики. Из Умани – тоже целая группа нетрудоспособных стариков. Из Смоленска прислали душевнобольного, которого пришлось здесь поместить в больницу. Из Минска и из

Одессы – зарегистрированных воров-рецидивистов. Из Бобруйска – веселых женщин! Биробиджан хотят обратить в какое-то свалочное место! Можно подумать, что за счет колонизации объявлена широкая разгрузка больниц, собезов и мест заключения!

А вереница барачных жителей все шла.

Ввалилось семь евреев. Мне особо запомнились трое; один приземистый, давно небритый, в пальто, надетом на один рукав; на второй руке у него была перевязка. Все время он размахивал больной рукой и локтем расталкивал остальных. Другой был высокий, рыжий, с быстрыми и подозрительно бойкими глазами. Третий был хилый, вялый, изможденный. На нем были грязные рваные калоши на босу ногу. На руках он держал чахлого и зловонного грудного младенца. У еврея был вид профессионального нищего.

Эти семеро вошли гурьбой и столпились у стола. Тот, у которого была перевязана рука, протолкался вперед и бойко заявил:

– Готово! Дело идет! Пишите ордер!

Из дальнейшего выяснилось, что эта группа хронических барачных жителей сколотила коллектив и находит, что пора писать ордер на кредиты. Рассуждение было такое:

– Вы сами видите, что из Тихонькой некуда ехать! – начал рыжий. – Там, где есть годная земля; и дома, там уже живут. Как мы можем двинуться, – семь семейных человек, – в тайгу или в болото, раз там негде жить?

Человек с перевязанной рукой перебил его:

– Мы придумали другой выход! Мы можем поселиться в Биракане и устроить там коллективную молочную ферму. Есть подходящий дом.

– Давайте деньги! – вставил человек в калошах.

Кое-кто из переселенческих работников, у кого, повидимому, наметан глаз, заметил:

– А не рассыплется ваш коллектив, не станете вы ссориться, когда поселитесь все в одном доме?

Тут все стали весело хлопать друг друга по плечам. Человек с перевязанной рукой, поддавливая плечом сползавшее пальто, хлопал каких-то двоих и приговаривал:

– Мы? Мы поссоримся?

Рыжий подмаргивал и смеялся:

– Мы развалимся? Мы?

– Мы такие товарищи, – сказал еврей в калошах, – что могут падать с неба камни, а мы не разойдемся!.. Это мне нравится! Мы, и вдруг разойдемся!..

Остальные сочувственно гудели и хлопали друг друга по плечам.

Комиссия постановила обследовать дело на месте и выделить двух членов для поездки в Биракан. Надо было осмотреть имущество, ознакомиться с хозяйственными возможностями.

Я тоже поехал. Перед вечером, часов в семь мы были на вокзале. Пришли и некоторые члены коллектива. Однако выяснилось, что коллектив распался.

– То есть он не распался, – пояснил еврей с перевязкой. – Но просто мы разошлись. Четверо выступили, и пусть с ними знается нечистая сила! Даже лучше!.. Это же были заведомые лодыри и жулики.

– Как лодыри? Как жулики? Ведь утром вы говорили...

– Что было утром, не надо вспоминать вечером. Я вам говорю, что так лучше. Тем более, что мы имеем четырех других на их место. Это уже настоящие. Поверьте, это золотое дело – коллектив в Биракане. На него много желающих.

– Почему, в таком случае, откололись утренние четыре человека?

– Что вам непонятно? Поссорились мы, и кончено...

Биракан в двух-трех часах езды на запад от Тихонькой. Это волшебное место. Поселок расположен у подножия горы. Внизу вьется железная дорога и гудит бурливая Бира. Горы покрыты лугами и лесом. В глубине гор – целебные серные источники и курорт Кульдур.

Дом, который хотели купить переселенцы, уже не продавался. Впрочем, они нашли другой. Хозяин просил четыре тысячи за усадьбу. Осмотрев ее, измерив и составив опись для

доклада в Тихонькой, мы пошли, в ожидании поезда, пить чай в китайскую харчевню. Здесь у моих переселенцев разыгралась фантазия.

– Значит, в конюшне ставим лошадей! – начал один.

– Живем только во флигеле. Дом оставляем под наем.

– Устраиваем заезжий дом для больных, которые едут на Кульдур.

– Китайцу столовку закроем...

– Наши жены не хворые держать столовку...

– Позвольте! – воскликнул я. – Ведь вы имели в виду молочную ферму?!

– Одно другому не мешает. Ферма – фермой, а заезжий дом особо, и столовка особо, и извозчичьи лошади особо.

Аппетиты разгорались. Компаньоны уже видели себя главными поставщиками продуктов на курорт Кульдур. Был поднят вопрос о снятии в аренду стационарного буфета. Но в харчевню вошла молодая еврейка в потрепанной кожаной куртке. На руках у нее был грудной ребенок.

Мои спутники, повидимому, знали ее и стали забрасывать вопросами:

– Ну, что?

– Нашла?

– Нет? А где он?

Еврейка опустила на стул и раздраженно сказала:

– Такой сволочь, такой дурак! Он думает, я его не найду. Он думает, что если он мне говорит, что едет ходокком в Крым, так я ему верю. Ничего, я уже знаю, где он!

Из дальнейшего я узнал, что у молодой особы сбежал муж. Он пытался убедить ее где-то в Умани или в Балте, что едет устраиваться в крымских колониях и когда устроится, вызовет ее. Сам же он уехал в Биробиджан. Она узнала об этом и пустилась за ним в погоню. Но и он принял свои меры:

– Теперь он на Сахалин подался, такой идиот! Ну, ничего! Все равно. Я еду на Сахалин, аж у него в глазах потемнеет.

Только появление этой особы отвлекло моих евреев от дальнейшего развертывания планов насчет их будущей жизни в Биракане.

А меня эти планы пугали: до чего не были они похожи на планы коллектива! Я видел лавочку с мордобоем и – увы! – не ошибся. Я имел возможность в Тихонькой следить за компаньонами несколько дней. Я, шутя, спрашивал рыжего при каждой встрече, не поссорились ли они еще. Однажды мой вопрос потерял характер шутки. Рыжий ходил с перекошенным лицом, глаза у него были налиты кровью.

– Ну, что? – спросил я.

– Уже!

– То есть?

– Как вы говорили! Они оказались мерзавцы.

Остальные члены «коллектива» держались, однако, такого же взгляда о рыжем. Я их встретил в канцелярии Озета.

– Это же первый лодырь и жулик и дурак на свете! – говорили они.

Компаньоны передрались, однако, уже после получения кредитов. Какова судьба денег – не трудно догадаться.

Я спрашивал, почему этим людям дали кредиты.

– А что нам с ними делать? Раз привезли людей, надо их хоть как-нибудь устроить.

Удивительного во всем приключении нет ничего: из Тихонькой, действительно, трудно, почти некуда ехать человеку, который не имеет специальности и хочет заниматься земледелием: фонды, действительно, не подготовлены, дорог и жилищ, действительно, нет. В бараках поэтому застревают не одни инвалиды. В жуткий барачный быт втягиваются и люди трудоспособные. Они разлагаются и деморализуются. Сколачивание «коллективов» вроде описанного – бытовое явление.

Среди барачных жителей складывается поневоле какой-то особый, жуткий быт.

Некоторые умудряются получать переселенческие кредиты и ссуды сидя в бараке, и проедают их, даже не выехав на землю. Другие, менее изворотливые, нищенствуют.

Те, кто вырываются из барака, не имея никакой возможности добраться до земледельческого труда, оседают в поселке и устраиваются, кто как может.

Одни проедают кредиты, другие ищут случайных заработков, третьи ремесленничают или дают домашние обеды.

И все это только результат того, что колонизация была поведена без подготовки и без плана.

Дальневосточный краевой комитет партии резко осудил приемы и результаты работ в Биробиджане. Краевой комитет констатировал невыполнение целого ряда директив и промахи в основных статьях руководства, – в жилищном, дорожном и колхозном строительстве.

Эта глава была уже написана, когда пришло сообщение об образовании нового административно-хозяйственного органа, в руках которого будет сосредоточено руководство колонизацией Биробиджана.

Можно теперь надеяться, что другой бытописатель, который посетит Биробиджан через год-два, увидит другие, разумные порядки и другие, радостные картины. Край вовлекается в систему больших промышленно-колонизационных комбинатов. В создание хозяйства Биробиджана уже в ближайшие годы вкладываются миллионы, и на сей раз не на началах растерянного и беспомощного кустарничества, как это было до сих пор, а на началах ответственного делового расчета.

Евреи привлекаются к работе во всех предприятиях в качестве основной рабочей силы, – в этом тоже залог планомерного развития колонизации.

Я с радостью и волнением прочитал газетную заметку о начатии изысканий по прокладке железнодорожного пути из Тихонькой в глубь района, на Амур.

Я верю, – пройдет какое-то время, и угрюмая тайга расступится перед победоносным шествием нового колонизатора; вековые болота будут вынуждены отдать свои необозримые пространства под огороды, сады, плантации, питомники и тучные пастбища; хорошие дороги деловито забегают там, где еще недавно я утопал в трясине; фабричные и заводские гудки будут прорезать воздух там, где не было от сотворения мира других звуков, кроме гула тайги и рева зверей.

И новый человек народится в этой стране. Еврей принесет в дремотную первобытность тайги свой неутомимый и требовательный урбанизм и возьмет от тайги ее спокойствие, уверенность и силу. Первые два года останутся в памяти колонистов, как тяжелый сон. Об этих годах они будут рассказывать приезжим, но те будут слушать рассеянно, ибо ничто вокруг не будет напоминать былые годы.

Однако между мрачным вчера и светлым завтра лежит и трепещет борьба и злоба сегодняшнего дня. Сомнения вокруг Биробиджана еще не улеглись, споры еще не утихли.

Именно поэтому надо, я думаю, показать сегодня во всей возможной полноте те трудности, среди которых протекали первые два года освоения Биробиджана.

Эти годы были годы экзаменационные. Биробиджан экзаменовался на звание страны, заслуживающей колонизационных затрат и усилий.

Еврейские бедняки, голодная еврейская голытьба экзаменовалась на звание трудовой массы, могущей оплодотворить эту дикую землю. Природа подготовила к экзамену два года стихийных ливней. Люди приготовили бесплановость, бесхозяйственность, нераспорядительность и суматоху. При этих обстоятельствах каждый оставшийся в Биробиджане колонист – живое свидетельство и привлекательных свойств этой страны и могучей воли еврейской массы к труду и к жизни.

Нужно по совести признать: если в Биробиджане все же осело за первые полтора года свыше тысячи, человек, если значительная часть ест уже свой хлеб, если все же загорелось в тайге хоть несколько электрических лампочек, если забила хоть кое-какая жизнь, то экзамен выдержан обоими кандидатами.

Жизнь будет! Да будет жизнь!

## Приписка через год

Я написал эту главу осенью 1929 г. Надвигалась зима, когда я уезжал из Биробиджана. Казаки готовились к белкованью, – покупали собак, продавали собак, кормили собак. В факториях Госторга и Охотсоюза толпились люди, – закупали ружья, дробь, порох. Прикидывали ружья к плечу, – пробовали прикладистость. Торговались насчет нормы дробин. Дома извлекались из чуланов унты, чинились рамузы, дохи, шапки, седла, заготавлился хлеб, сухая рыба, табак. Сговаривались компаниями – кому, с кем и куда ехать, в какую сторону, к какому зимовью.

Охотники собираются группами по 6–7 человек. Они уходят верхами, на коней навьючены припасы, убогий провиант, топор, ведерко. Расположившись в тайге, в зимовье, коней отправляют с мальчишкой домой, а сами остаются. От зари бродят они по лесу и стреляют. Месяц живут так, два, – пока хватит провианта. Потом навьючивают мешки с пушниной себе на плечи и отправляются пешком домой – за десятки километров – обросшие, невымытые, но с добычей, которая обеспечит их на год.

Надвигалась зима, когда я уезжал из Биробиджана. Уже выпал первый снежок, и стадо косули оставило всполошенный след на долине за селом, в котором я жил.

Мне часто приходила в голову мысль, – ну, а как перезимуют евреи? Что будет с этими бедняками? Что будут делать зимой эти худосочные, бледные люди с посиневшими от истощения губами, босые, в рваных калошах на босу ногу; что будут делать они, их несчастные жены, их золотушные дети?

Зимой тайга стоит прозрачная, – кустарник, лианы, трава – вся таежная мелочь – удирают от мороза. Остаются одни только суровые лесные старики – кедр, пихта, дуб. Приходят морозы в сорок градусов, – тогда скрипит дуб, охает пихта и кедр угрюмо скрежещет.

Никто не мог сказать, что будет с евреями. Небо стояло голубое, но голубизна была холодная. Суров был шатер на чужой стороне.

Однако, случилось так, что в конце лета 1930 г., т. е. ровно через год, мне довелось снова посетить Биробиджан. Неожиданно я сам оказался тем «другим бытописателем», от которого ждал сообщений насчет ближайшего биробиджанского будущего.

В день моего приезда я имел случай съездить в Вальдгейм. Помню, год назад при поездке сюда моя лошадь едва не сломала себе ноги, провалившись в яму. Сейчас между Тихонькой и Вальдгеймом лежит широкая американская дорога, усыпанная гравием. Болото она проскакивает по дамбе, а в тайге идет ровной аллеей. Прошлогодние вальдгеймские домики стали похожи на спичечные коробки, потому что рядом с ними выросли новые дома – коттеджи в шесть квартир, с широкими верандами, с просторными комнатами. Вальдтейм – колхоз. Ведь я был здесь в памятный иом-кипур, когда этот колхоз закладывался. За этот суровый год колхоз построил школу, клуб-столовую на 500 человек, здание сельсовета, агропункт, конюшню на 150 коней, коровник на 200 коров, свиноводник на 200 свиней, инкубатор на 2000 мест, пасеку на 300 ульев и изумительный огород. Здесь есть почта, телефон, у въезда поставлена триумфальная арка.

Вальдгеймский огород дал картофеля 200 центнеров с гектара, помидоры уродились исполинские, тыквы такие, что одному человеку не поднять. Вальдгейм кормит Хабаровск своими овощами, маслом и медом.

Доходность гектара огорода по твердым ценам такая: картофель–540 р., огурцы–1 400 р., томат–2000 р. и т. д. Колхоз заготовил 450 тонн сена. Его территория теперь рассчитана на 1000 переселенческих семейств. Средний дневной заработок члена колхоза превышает 3 рубля.

Вот, оказывается, как провели зиму в Биробиджане некоторые еврейские переселенцы. Вот что они делали и вот что они сделали под суровым шатром на чужой стороне.

Дамский портной, который в прошлом году, в иом-кипур угощал меня салом и «гусиным молоком» из ферм Центроспирта, теперь состоит на колхозной кухне вроде первосвященника. Он подвязал голову белым платком, что при черной бородке и жгучих глазах придает ему вид хозяина таверны в Калабрии.

Радость нашей встречи была омрачена для него:

– Ну, что это за столовая, – ворчал он, – когда прованского масла нет, гвоздики нет, перцу душистого нет! Ну, как я вам приготовлю икру из синих баклажан?

В Тихонькой на вокзале еврей-милиционер караулил гору старой канцелярской мебели. Рыжие шкапы для дел, залитые чернилами столы, старые стулья с протезами вместо ног, – все это стояло на площадке дебаркадера и лупило чернильные глаза на окружающую природу. Окружающая природа была представлена стаей мальчуганов и тихоньковской дремучей сопкой. Мальчуганы были еврейские, корейские и казацкие, их было много. Они представляли окружающую природу и одновременно играли в бабки. А сопка стояла угрюмо и одиноко: ей не до игры. Знает она, какую игру могут затеять с ней люди: люди рассекут ей грудь и вынут гранитное сердце, – вот и вся игра. Сопка хмуро смотрела на стадо столов и стульев.

Стадо принадлежало будущему Биробиджанскому районному исполнительному комитету, открытие которого было назначено в Тихонькой на ближайшие дни. Первый Съезд советов открылся на следующий день.

Я был на этом съезде. Он заседал в большом новоотстроенном доме. Стены были обиты лозунгами на четырех языках. Плакаты были написаны по-еврейски, по-корейски и по-китайски.

Все перемешалось в великолепном вихре нашей эпохи! Вот социализм строится в краю, где режут медведи, а строят его евреи из местечка и монголы из тайги.

Незадолго до съезда в Тихонькой появился какой-то чудодей, – он взялся в три дня оборудовать электрическое освещение. Ему предоставили поломанный трактор, он его починил, а потом мы видели, как этот человек карабкался на столбы и деревья, протягивал провода и укреплял лампочки. В день открытия съезда в Тихонькой сверкало электричество. Вокруг лампочек роились бабочки и комары и стояли изумленные люди. Люди были изумлены могуществом человеческого разума, который умеет так хорошо освещать тьму. Еще больше изумляло, что ясный свет пришел именно сюда и горит в этой темной деревне.

Я ходил на заседания съезда. Переводчикам там была работа: корейцы, китайцы и евреи говорили каждый на своем языке.

– Надо проложить дороги, – говорили делегаты. – Нужны школы. – Нужны больницы. – Нужны ветеринарные пункты. – Нужно побольше тракторов.

Тайга едва проснулась от тысячелетнего сна, я вот сразу стали ее мучить тысячи вождедений. Все сделалось нужно.

Итак, Тихонькая – город! Центр Биробиджанского района!.. Будущая еврейская столица!

И вот уже в Тихонькой тесно, свирепствует жилищный кризис, куда ни войдешь – всюду занято, всюду живут. Построилось с прошлого года несколько неплохих домов, но там уже живут по пять человек в комнате. Казаки смекнули, в чем дело, и в Тихонькой почти московские цены на комнаты. Дед, похожий на лесную шишигу, просит 4 рубля за десяток яиц и сокрушается: он слышал от людей, что в Новосибирске 8 рублей платят люди, если яйца хорошие. Отсюда до Новосибирска неделя езды. Дед отдает яйца за четыре рубля с видом человека, у которого погибла жизнь: он бы смотался в Новосибирск пешком, да вот ноги, гудут. Это непоправимо.

Я опять немало изъездил по Биробиджану и на колесах, и верхом, и исходил пешком немало. Ружье охотника снова заводило меня в лесные дебри, а записная книжка журналиста толкала в гущу человеческих взаимоотношений. Я постараюсь подробно описать все, виденное в этот приезд, отдельно и более или менее подробно. Сейчас скажу только в этой

краткой приписке: много ошибок, совершенных в 1928 г., уже исправлено. Во-первых, введено колхозное землепользование и к тому же – на основе сплошной коллективизации. Кончились мелкие местечковые компанейства по 2–3 человека. Коллективизация – сплошная. Исправлена и другая значительная ошибка: кучки переселенцев, разбросанные по всему Биробиджану по 5–6 семейств в одном месте, стянуты и включены в крупные колхозы. В 1930 году в Биробиджане было четыре еврейских крупных с.-х. коллектива в четырех населенных пунктах – Амурзет, Бирефельд, Вальдгейм, Икор. Проведение телефона и улучшение дорог значительно облегчили связь между колониями и управление ими.

Колхозы живут напряженной хозяйственной жизнью, – работают, строятся, отбирают у тайги и у болот все большие и большие пространства. В 1930 г. всего было вспахано земель в Биробиджане 35 тыс. га. Полезно прибавить, что до советской колонизации казаки успели поднять здесь за 70 лет всего 14 тыс. га.

В 1930 г. приступили к работе совхозы: Биробиджанский зерносовхоз на площади около 75000 га; рисовый, имеющий 1500 га; молочно-огородный вблизи ст. Покровка, имеющий 3 500 га, и Амуро-Бирский скотоводческий. Наркомзем Союза наметил организацию здесь еще 14 различных совхозов, общей площадью в 760 000 га. Осенью 1930 г. из этого числа приступили к работе колхозы – свиноводческий и птицеводческий. А на 1931/32 г. намечено вложение в строительство Биробиджана 20 миллионов рублей.

Организованы три машино-тракторные станции. Работает крупный деревообделочный комбинат в селе Николаевке. Работает целый ряд крупных производственных артелей и, – что важнее всего, – завод стандартных домов.

В значительной степени переменялся и состав новоприбывающих переселенцев: видно, и на местах немного одумались и перестали посылать сюда немощных стариков и старух. Сейчас в Биробиджан едет еврейский молодняк. Можно сказать, Биробиджан – страна еврейской молодежи.

Многих, кого я помнил с прошлого года, я не застал. И хорошо: произошел отсев, естественный отбор. Я не застал, например, никого из той слякоти, с которой ездил в Биракан покупать дом.

Но те, которые перезимовали, переменялись в значительной степени: у евреев в Биробиджане обветренные лица и суровый блеск в глазах.

Еще не все гладко в жизни Биробиджана, еще много трудностей лежит на плечах переселенцев. Еще не изжита и вся неорганизованность. Но перелом наступил. Главы, в которых я передаю рассказы Аврум-Бэра и описываю бараки, получили характер исторической справки. Так я их здесь и оставляю. Да ведают потомки!

Я писал в прошлом году, что жизнь будет. Скажу: она идет. Она есть. Да здравствует жизнь!

## **Еще об евреях**

### **1. Десна ноет**

Я сидел в гостях у знакомого казака-охотника в Тихонькой. Были и кроме меня гости – все местные зверобой. Хозяин потчевал нас медвежиной. Он раздобыл и бутылку водки, что довольно трудно было тогда на Дальнем Востоке. Об этом и были разговоры.

– Взять бы того Чанкайшу да и к нохтю! – ворчал, разрывая кусок красного мяса, Сергей Стремянников, старый жилистый казак с большими усищами. – К нохтю – и будь здоров! Верите ли? – обратился он ко мне, – до конфликта так тут ихней водки китайской – ханшины, значит, – бывало, сколько хочешь. А сейчас как полезли они воевать, – граница, значит, усилена, и вот не поставляют, однако, китайцы.

– Давеча встретил одного, – добавил басом другой гость, Максим Ярославцев, тоже сухопарый, жилистый усач. – Знаешь? Который из Семи Балаганов...

– Хромого фазана? – перебил хозяин. – Знаю.

– Угу! Хромого! Где, говорю, твоя ханшина?

А он, – моя, говорит, китайска сторона не ходи. Вот тебе и конхликг!

В этом году к военным осложнениям присоединилось и еще одно совершенно неожиданное для казачества обстоятельство.

– Нету у бога погибели на них! – говорили казаки. – Сказано, – волос долог, ум короток.

В этом году женщины-казачки возвысили голос. Это было впервые от сотворения мира. «Бабком» потребовал закрытия лавки Госспирта. На селе сделалось очень трудно добыть водку, – разве уж из города кто привезет.

Вошел к нам в комнату еврей-переселенец, временно живущий в доме у моего охотника. Хозяин поднес и ему. Еврей выпил рюмку и мгновенно захмелел. У него опрокинулись глаза, и внезапно он стал спрашивать меня, почему такой-то товарищ, состоящий на службе в Озете, получает двести рублей в месяц.

– За то, что умеет красиво подписывать свою фамилию, а я не умею, так я сапожник, а он ответственный? Вот это значит социализм? Я вас спрашиваю! Стремянников! – обратился он к усачу. – Стремянников! Это социализм? Я говорю, слышишь, Стремянников? – я говорю, что если так, то мы вполне имеем явление демократической республики.

Все удивились, как быстро человек опьянел. Он плюхнулся в угол и замолк.

Казаки с любопытством оглядывали его: они не видали евреев, не знают их, им любопытен каждый.

За перегородкой, где живет еврейская семья, заплакал ребенок.

– Совсем еврейское дитё, как русское, плачет, – заметил Стремянников.

Ярославцев задумчиво добавил:

– Все люди по-одному, одним звуком смеются и одним звуком плачут. А живут по-разному: одни, как люди, а другие, как сволочи...

Ярославцев опрокинул здоровенную рюмку и стал обглаживать кость.

Потом разговор незаметно перешел на соболиную охоту. Стали говорить, какой это трудный промысел. В этой охоте, требующей колоссального терпения, выносливости, наблюдательности и знания тайги, никто не может тягаться с гольдами и орочами. Редко когда русские или китайцы охотятся на соболя. Русские, особенно староверы, живущие в глубоких таежных районах, до революции скупали соболя шкурки за гроши у наивных туземцев, а чаще всего выменивали.

– Они, гольды, дюже посуду медную любят, – сказал Стремянников. – Бывало, привезут им столоверы медный чан, да начищенный, чтобы блестел покрасивше! «А ну, брат Сюнцай, кидай соболей своих сюда!» Да сколь чан велик, столь соболей и заберет. Еще уминает купец кулаком, чтоб побольше влезло. «Твой чан, мои соболя!» А сам за чан пять рублей отдал, а сам за соболей тыщи наберет. Да-а! – неожиданно заключил Стремянников. – Торговый они народ, богомольный!..

Все забыли об еврее. Он сидел в углу на груде мешков и молча смотрел на нас помутневшими глазами. Однако, когда Стремянников закончил рассказ об оборотистых староверах, еврей воскликнул:

– Ай-ай-ай! Что было бы, если бы это делали евреи?

– А хоть бы и яврей, так что? – недоуменно спросил хозяин.

Он не понимал своего жильца.

– Вы не знаете – что? – переспросил гот. – Так я вам скажу! Еврей – это такой человек, что ему нельзя то, что можно другому. Ось, к примеру, эти столоверы, так они обманывали гольдов. Так что? Так ничего. Обманывали, так обманывали. Так вы за их вспоминаете, когда бог послал рюмку водки и пришло до слова. А у нас в Расеи так когда-то ходили люди и говорили, что надо только сделать еврейский погром. Что такое? Ничего! Еврейский лавочник обманул мужика: он взял с него три копейки за селедку и не додал ему сдачи полкопейки...

Хмель снова стал трясти его, и он распалился:

– Евреи – это особый народ! – кричал он.

Он бросился ко мне.

– Послушайте, вы! – сказал он, хватая меня за плечи, – Вы! Писатель! Вы напишете, что Биробиджан – хорошая страна, так найдутся такие, что скажут: «Ка-а-ак? – они скажут. – Хороший кусок земли, так отдали евреям? Расея, – они скажут, – стала жидовской страной!..» И так само обратно – вы напишете, что Биробиджан плохая страна, так опять найдутся такие, что будто бы они наши друзья, чтоб они удавились, и они скажут: «Во-о-от! Плохой кусок земли, так отдали евреям на погибель...» Бо до нас никто холоднокровно не относится...

Вся эта реплика пропала для казаков. Они никогда не видели евреев, не знают их, не имеют о них никаких суждений. Но я понимал беднягу очень хорошо. Верно, что трудно и писать об евреях. Хотя Хаим-Мордко Пинтель и говорит, что евреев уже нет, но все же национальное чувство еще очень воспалено в еврейской массе. Большой зуб еще только-только удален, и десна еще ноет.

Однако большой зуб удален. Как бы ни было удручающе тяжело материальное положение еврейства, продолжающегося томиться в местечке, советское законодательство, разрушившее исключительные законы, положило начало моральному перерождению забитой, бесправной, деморализованной, лишенной гражданского чувства еврейской массы.

## 2. «Солдатушки-ребятушки»

Есть у меня в Москве один знакомый пожилой еврей. Это обыкновенный еврейский папаша: сутулый, близорукий и говорит глухим баском. Всю жизнь он трудился – служил счетоводом у богатых евреев. Там у него притупилось зрение, заглох голос, сделалась круглой спина.

У него сын в Красной армии, и парня занесло на Дальний Восток, на маньчжурскую границу. Было это как раз во время китайского конфликта. И вот папаша ходил по знакомым и показывал всем, какое письмо ему прислал его Исак, который прислал ему письмо. Исак участвовал в стычке с китайцами и пишет об этом, захлебываясь от радости.

– Что вы на него скажете, на этого вояку? Мой Исак, так он вовсе герой, ей-богу!

Папаша читал письмо вслух, лежа носом на бумаге, – иначе он ничего не видит, – но поминутно отрываясь от чтения, чтобы выпрямить вдавленную грудь: он был горд.

Не всегда так было. В царской России евреи не были образцовыми гражданами. Нельзя сказать, чтобы цари могли хвастать, что вот, мол, из всех народов верноподданный, усердный народ у них евреи. Напротив, евреев вполне заслуженно обвиняли, например, в дезертирстве из армии, в уклонении от воинского призыва. В еврейских городах и местечках существовала даже сложная индустрия членовредительства и взяточничества вокруг воинских присутствий.

В Чечельнике жил костоправ, виртуоз по грыжам. Он умел сделать свежему человеку грыжу за самое скромное вознаграждение и в короткий срок, так что другие завидовали. Он был очень популярен среди призывников. В Головановске был ушной мастер. Он прокалывал призывникам барабанные перепонки. Это освобождало от барабанного боя. В Бершади проживал «окулист», который умел, как никто на свете, прокалывать глазное яблоко и оставлять человека кривым. Но зато такой человек не видел солдатчины. Были доморощенные терапевты, которые знали, чем и как надо поить призывника за два месяца до призыва, чтобы в воинское присутствие его внесли на носилках.

– Когда я не хочу петь «Солдатушки-ребятушки, где же ваши жены?» – сказал мне один такой призывной полутруп, которого я спросил, как он решился поставить на каргу свое здоровье, а то и жизнь, лишь бы не итти в солдаты.

Разорение здоровья сопровождалось разорением имущественным. Местечковые «профессора» получали, правда, гроши. Но благородное российское офицерство и чиновничество, оплот могущества русского царя, – все эти исправники, капитаны, генералы,

военные врачи, – все члены воинских присутствий знали, что среди евреев-калек, подходящих к столу присутствия, есть и немало членовредителей. По тем временам это грозило серьезными арестантскими ротами. Но еврейские папаши платили взятки, и все обходилось благополучно. Собственно, освобождались евреи от солдатчины за посильную взятку, а глаз или ухо прокалывали себе только так, для соблюдения формальностей, чтобы не подводить начальство.

Вокруг всей этой системы позора и несчастья жужжали антисемиты. Даже те, кто на еврейские взятки кутили, держали лошадей, выдавали дочек замуж и строили каменные дома, даже те жужжали, что евреи – трусы, что они боятся ружья, что им страшны трудности казарменной жизни и что все это только потому, что они евреи, а евреи – другая раса, внутренне несхожая с расой арийской, и т. д. и т. д.

Существовала тысяча теорий антисемитизма. Одного только понимать не хотели все эти теоретики: что царская Россия, державшая евреев в несправедливости, впахнувшая их в нищенскую «черту оседлости», не могла и не имела права ожидать, чтобы они лезли с верноподданничеством и усердием и рвались в солдаты, в казарму, к унтер-офицерам и, особенно, на войну. Все говорили, что это дезертирство характеризует евреев, в то время как оно характеризовало только тогдашнее государство.

Сейчас удельный вес евреев в Красной армии больше удельного веса мужского еврейского населения в Союзе. Отношение такое: 2,1 % к 1,7 %. Процент евреев в царской армии равнялся 1, т. е. он был вдвое меньше процента евреев в Красной армии.

Сейчас если и случается неприятный переплет у еврея на почве военной службы, то совсем другого порядка: иной раз читаешь в газетах, что вот, мол, сын нэпмана Рабиновича, как и сын кулака Иванова, скрыв свое социальное происхождение, пытались проникнуть на строевую службу в Красную армию, но им накомылили затылки и выкинули. Раздаются очередные возгласы негодования по поводу происков классового врага, а папаша Рабинович, поглаживая накомыленную шею сына, находит, что свет безусловно перевернулся кверху ногами: когда он, Рабинович, такой бывший «Рабинович и Цукерман», такой почтенный человек, отдает «им» своего сына в солдаты, так «они» еще не хотят!..

### 3. Утвержденные стандарты

В литературном обиходе довольно давно утвердилось несколько стандартных типов еврея.

Старый еврей. Старый еврей стар. Он носит длинную седую бороду, длинный сюртук, и в глазу у него увеличительное стекло: он часовой мастер.

У него есть дочь – молодая девушка по имени Рахиль. У Рахили черные глаза. Глаза Рахили полны грусти.

У Рахили есть поклонник Соломон с курчавой бородкой. Соломон носит курчавую бородку, и у него два дела в жизни. Во-первых, он занимается идеализмом, он верит, что погромщикам когда-нибудь станет ужасно стыдно. Во-вторых, он поклоняется Рахили с черными глазами и ждет взаимности.

Эти персонажи живут в своем замкнутом мире испокон веку. Как ни странно – работает один лишь старик; он починяет часы, а молодые ничего не делают: их профессия – носить скорбь и питать надежду.

И вот врывается бессовестная вьюга: за девушкой начинает волочиться офицер. Девушка довольно легко позволяет себя обольстить или даже изнасиловать. Когда офицер бросает ее, она ходит с черными глазами, в которых лежит скорбь. Старика убивают погромщики.

Молодой Соломон с курчавой бородкой находит, что все это неправильно от начала до конца. Неправильно, что убили старика, неправильно, что офицер стал волочиться за Рахилью; неправильно, что Рахиль так неосторожно и так легко сделала такую ошибку.

Авторы пользуются этими персонажами с целью возбуждения симпатий к еврейскому

народу, к «избранному» народу, к «народу библии», к народу и тому подобное.

Это, конечно, очень мило, но... часовые мастера евреи стали брить бороды еще лет сорок тому назад и патриаршеством не занимаются, как и прочие евреи-ремесленники и труженики. Я на этом очень настаиваю, на этой бороде.

Из многих бородатых евреев, которых я видел и знал, особенно живо сохранился у меня в памяти один старик, рэб Аврум. Вот у кого была белая борода! Вот у кого был длинный сюртук!

Вот на чьем лице лежала печать благочестия!.. Он был ростовщик. У него был сынишка, младший сынишка, утеха старости. По вечерам рэб Аврум откупал у него ужин за две копейки наличными. Мальчик клал себе под подушку две копейки и засыпал голодный. Во сне он видел себя взрослым ростовщиком. Ночью отец выкрадывал у него из-под подушки две копейки. Утром мальчик подымал плач и крик. Тогда отец, тряся патриархальной бородой, подавал ему к завтраку вчерашний ужин.

Знавал я также одного Соломона с курчавой бородой. Это был подлинный христосик. Говоря о земном, он закатывал глаза вверх, как подкатывают брюки в грязную погоду: боялся лишнего прикосновения. Он говорил тонким тенором, почти фальцетом. Он оказался предателем.

Встречал я и обольщенных Рахилей. Нудные существа! Пока замуж не выйдет, все время носит в глазах мировую скорбь. А уж выйдет замуж, так за купца. Тогда она ест гусиный жир, толстеет и копит деньги.

Внутренняя неверность этих типов проистекает из того, что они – нарочитые, оперные. Сейчас оперные люди отменены, они никому не нужны, а которые сохранились – проходят по списку лишенцев.

Очень жаль только, что и по сей день иные писатели и драматурги развозят эти юдофильские кунсткамеры по издательствам и театрам и даже получают за это признание.

В еврейской массе, в той, которая изнывает в местечках, давно уже нет ни таких Соломонов, ни таких Рахилей, ни таких стариков. Там у людей нет личных драм. Там одна драма – нужда и бесцельность существования.

Я видел недавно в одном маленьком городке на Украине, как живут евреи. Они сидят на завалинках своих домов и молчат. О чем говорить? Все переговорено. Работать нечего.

– Что ж они делают? – спросил я одного местного жителя.

– Они сидят и нуждаются, – ответил он на мой вопрос.

Главным формовщиком психики местечкового еврейства является нужда. Эти люди, покуда они сидят в своих погребальных местечках, деморализуются, разлагаются, теряют и внутреннюю моральную опору и внешний человеческий облик. Это имеет много естественных последствий. Когда мне говорят в колониях, что вот, мол, есть известный процент колонистов никудышных, с которыми никакой каши не сварить, потому что они вконец деморализованы, я удивляюсь не тому, что они есть, а тому, что их мало. Было бы неудивительно, если бы оказалось, что они все таковы.

На Украине и в Крыму, когда приезжают свежие группы евреев-земледельцев, крестьяне нередко злятся:

– Кому землю дают?! Что они с ней сделают?!

Иные видят в таких замечаниях антисемитизм, юдофобство. Но, право, так ли это? Самый вид типичного еврея из местечка, вид уничтоженного человека, может вселить очень большое недоверие к его будущей работе в поле. Нужна была сумасшедшая смелость революции, чтобы бросить евреев на полевые работы.

Но смелый опыт оправдывается! В тяжелом труде земледельца местечковые выходцы находят внутреннюю опору. Среди них формируются и совершенно новые люди – не оперные, а земные; с глазами, в которых не ложная мировая скорбь, а твердая человеческая требовательность в борьбе за существование.

## Известный Тасилев

В станции Лазаревой ко мне подошел на улице пожилой еврей со сморщенным и искривленным лицом. Он был без штанов – в одних исподних и в калошах на босу ногу. На плечи было накинуто старое, рваное дамское полупальто из толстого драпа с необыкновенно длинными рукавами и с буфами, – как носили лет 35 тому назад.

Человек этот был грязен и заспан. У него был отталкивающий вид, – тот самый отталкивающий вид, какой придает человеку привычная нищета. Шмыгая носом и беспрестанно почесываясь, он начал:

– Ну?.. Что теперь будет? Вот это называется справедливость? Что он теперь уехал, а я теперь остался вот так вот и сам один должен...

Он не успел досказать, кто уехал и что он должен: кто-то толкнул его, и он стухевался. Но и без его рассказа, по одному виду и тону я без труда догадывался, в чем дело: их было, вероятно двое таких богатырей-работничков, они сбились в компанейство, затеяли совместное ковыряние в носу, назвали это колхозом, получили под это от доверчивой администрации кредит, а теперь один уехал, а второй чувствует себя обездоленным.

– Вы знаете, кто это? Это же известный Тасилев! Вы не слыхали за Тасилева? Это же такой нахал, такой лодырь, такой я не знаю что...

В здешних местах часто случается, что кони, гуляя без присмотра, к тому же преследуемые гнусом, уходят, куда смотрят глаза. Бывает это и у евреев и у казаков. Хозяин тогда снаряжает погоню и находит пропажу нередко и за сорок-пятьдесят километров. Украсть коня здесь никто не может: казаки безупречно честны. Казак поймает приبلудного коня и сам станет разыскивать хозяина.

Никто из евреев не гордится тем, что энергично разыскивал свою пропавшую лошадь. А энергия нужна не маленькая: искать надо в тайге и за болотами. Дело это не совсем привычно для еврейского переселенца. Но никто не хвастает.

А имя Тасилева знают все: у Тасилева ушел конь, и он недостаточно энергично его разыскивал.

Я слышал о Тасилеве так часто, что заинтересовался им. Я не мог, впрочем, добиться, чем он был до революции. Кажется, он музыкант, – значит он в местечке играл на свадьбах на контрабасе. Это еще не богатая карьера, но и она закрылась. Уже много лет как молодые люди даже в местечке стали жениться без контрабаса. Значит, последняя карьера Тасилева – нищета. У него восемь душ маленьких детей. Если бы кто-нибудь усомнился в том, что Тасилев еврей, эта тяжелая многосемейность – вернейшая примета. Сам он – рыхлая развалина, вместилище нищеты, болезней и горя. Что тут, по совести, необыкновенного, что он не так уж проворен в тайге и боится заходить далеко в поисках пропавшей лошади?

Но в погоне за новой жизнью его товарищи-евреи в тайге, как бы в лихорадке, поспешно и торопливо отряхают с ног местечковый прах. Вчера еще они все были такие герои, как Тасилев, по сегодня у них складываются новые понятия.

Все возмущены Тасилевым, все находят, что такие Тасилевы, которые не лезут в тайгу разыскивать сбежавшего коня, «только должны харкать кровью» и «их только должны кушать черви».

– Такой нахал, такой лодырь, такой я не знаю что...

## Бася

Рядом с сараем, в котором топится кухонная печь, висит на столбах жидкий досчатый навес, более похожий на козырек, а под ним, на тумбах, длинная доска, на которой едят. Это – общественная столовая.

Я приехал в сырое осеннее утро. Всю ночь сеял мелкий дождь; дорога, всегда тяжелая, разбухла и размокла, – передвигаться по ней было особенно трудно. Мы промокли, продрогли и промочили ноги и выбились из сил. Мы ввалились в кухню и стали требовать

еды. Еды не было никакой. Глухая старуха-кухарка не хотела разговаривать с нами. Была еще еврейка помоложе, судомойка. Но она тоже отвечала хмуро:

– Нечего кушать! Зачем вы сюда приехали, когда здесь ничего нет? Надо такую столовую и совсем закрыть. Еще общественная! Чтоб им такая жизнь была, как эта столовая!..

Это была еврейка из местечка. В стране Биробиджан отсутствие в столовой продуктов наводило ее на мрачные мысли.

– Прямо я даже не знаю, – ворчала она, – что это за столовая такая! Приходят люди, и нечего дать им кушать. Хоробу я могу вам дать! – предложила она в заключение.

Мы были разбиты с дороги, очень хотелось есть. Трактористы, которые были со мной, стали ругаться.

– Что это за такое? – кричал один из них, низкорослый, приземистый малый со злым лицом. – Тут работаешь, как каторжный, а они жрать ничего не приготовили!

Он стукнул кулаком по столу.

– Моментально жрать!..

Но судомойка была невозмутима.

– На маму свою будете кричать, – не повышая голоса, отвечала она. – А я вам не обязана выслушивать, что вы работали, как каторжные. Я сама тоже работаю, как каторжная.

Она отодвинула посуду и, подбоченившись, стала кричать:

– С самого рассвета мы гоняем по деревне, ищем подводу, и нет подводы.

Она, повидимому, собралась долго кричать, но ее перебил наш спутник, переселенец, сухощавый еврей со смешливыми глазами:

– Сердце мое! – сказал он необыкновенно ласково. – Птичка моя! Зачем вам подвода? Когда вы содохнете, мы вас потащим на руках.

Разговор обещал затянуться. Появилась какая-то небольшого роста еврейка – чернявая, черноглазая и быстрая.

– Что тут за шум? – спросила она.

– Вот хозяйка! Хозяйка! – раздалось со всех сторон. – Бася! Давай кушать! Жрать давай, Баська!

Бася взглянула на неожиданных столовников очень спокойно.

– Какие черти носят вас так рано?

– Жрать давай, Баська! Жра-ать! – гудели наши.

Бася вошла в кухню, заглянула в котлы и сказала, обращаясь к старшему трактористу:

– Вы сами и ваши все трактористы – вы одна компания лодырей. Сколько я прошу, чтобы вы привезли нашу картошку, которую мы купили в соседней деревне, так это, как горох об стенку. Вы туда ездите на тракторе каждый день и возите грузы, и возите пассажиров, и возите мои болячки на вашу голову, – чего вы только не возите, а эту картошку, что каждый человек должен кушать, так некому привезти! А потом вы пристаёте к нам – «жрать, жрать»!

Обращаясь к судомойке, она прибавила:

– Дай им нашу картошку и дай им сухари и чеснок, и пусть они кушают.

Судомойка даже подскочила:

– Ка-ак? Нашу картошку? Что значит – нашу картошку? Их пять человек! А мы что будем кушать?

Глухая старуха тоже вмешалась. Оказывается, она не так уж глуха: что не надо, она слышит.

– Что? – заворчала она. – Свое отдать этим чертям?

– Сейчас привезут картошку, через полчаса или через час. Я нашла подводу, – ответила Бася и прибавила, не повышая голоса, но повелительно – Отдайте им нашу порцию, потому что они о дороги. Мы позавтракаем позже.

Через минуту судомойка сердито швыряла нам сухари, чеснок, лук и тарелки с дымящейся картошкой.

Сухари шумно трещали у нас под зубами, чеснок наполнял рот жаром, картошка обжигала горло, но ноги не отходили, – ногам было холодно.

Дождь продолжался. Небо висело низко и заливало нашу еду. Козырек навеса давно промок, в громадные щели между досками дождь стекал к нам на стол.

Бася стояла, прислонившись к дверям. У нее были закатаны рукава, – она помогала судомойке. Время от времени она посматривала на дорогу. Но сопка заслоняла вид. Бася влезала на сложенные неподалеку бревна и напряженно смотрела вдаль. Картошки все не везли.

– Опять будет неприятность. Страсть, как не любят у нас рабочие, когда нечего кушать...

Нетерпение гнало ее к бревнам поминутно. Когда она возвращалась оттуда, ее высокие сапоги бывали измазаны грязью до самых колен.

Бася приехала в Биробиджан с первой партией колонистов. Она видела ужасы 1928 года.

– В прошлом году– о-го! Что тут было в прошлом году! Вы видите этот дождь и эту грязь? Так это – Париж против прошлого года!

В прошлом году она и вся их компания работали в тайге, в самой тайге, где гнус пил их кровь, прямо, как лошадь пьет воду из речки, – чтоб вы знали. Жить у них негде было, – палатки промокли, и есть нечего было, потому что они были отрезаны.

Вообще, долго рассказывать, потому что это чистый анекдот, что его надо написать в книге, ей-богу.

Да, я уже слышал этот трагический анекдот.

– Что ж вы теперь делаете?

– Что мы делаем? – переспросила она с певучим местечковым акцентом. – Мы живем. А если мучаемся, так что? Мы же строим социализм.

Мне показалось, что я ослышался. «Строим социализм»? Это, конечно, так. Но я привык встречать эти слова в передовых статьях, в докладах о текущем моменте и т. п. Но Бася? Она сказала это таким тоном, каким говорят о совершенно очевидных вещах.

Обстановка делала эти слова неожиданными, и это лишило меня простого и ясного тона. Я задал Басе неуклюжий интервьюерский вопрос:

– Что это значит по-вашему, – строить социализм?

Бася ответила не сразу. Она была занята делом: она снова вскочила на бревна, приложила руку к глазам и, наклоняясь то вправо, то влево, стала снова и снова всматриваться вдаль.

– Кажется, едут! – радостно воскликнула она. – Везут! Картошку везут!

У нее все лицо засветилось. Спрыгивая с бревен, она как бы снова заметила меня и вспомнила о нашей беседе:

– Что значит социализм? Вот мы построим дом и проложим доски или камни, чтоб был тротуар ходить на работу, и наладим, чтобы картошка была в запасе, и чтобы с крыши не текло прямо в тарелки.

Она юркнула в кухню.

– Ента! – кричала она старухе. – Везут! Вот он едет!

Я считал наш разговор неоконченным.

– Что ж дальше? – спросил я, когда она вновь показалась в дверях.

– Зачем дальше? – рассеянно ответила Бася. – Когда будет где жить и можно будет ходить по-людски на работу и будет что кушать, так это уже начинается социализм. А вы что думаете?

Бася – простая, малограмотная женщина. У ней грубые руки, она носит высокие болотные сапоги и не думает ни вещать, ни изрекать истин. Над ней низко висит серое небо, воеет ветер, кругом нее грязь, тайга и пустыня. Но вот она вложила свою маленькую жизнь в великий смысл эпохи. Или, быть может, иначе. Быть может, в словах, которые ей подсказала эпоха, она нутром почувствовала основу, могущую заполнить ее жизнь.

Пока перетаскивали в кухню мешки картошки, пришли, тяжело передвигаясь по грязи, какие-то казаки. Они тоже подсели к нам. Еда у них была своя, – они только потребовали чаю.

Грязь заливала улицу. Она стояла глубокой лужей вокруг нас и у нас под ногами.

Откуда-то явился китаец в ватном халате и в меховой шапке. Через плечо у него висела сума. Я принял его за нищего, но он оказался фокусником. Он подошел к нам, извлек из сумы тарелки и стал жонглировать. Он стоял в грязи по щиколотку и с равнодушным лицом подбрасывал и ловил свои тарелки.

Шел дождь.

– Фокусный народ китаезы, – заметил, скучая, один из казаков. – Темный народ, а смотри, как тарелкой работает. Чисто потеха...

Китаец упрятал тарелки и стал жонглировать ножами.

– А у нас, – сказал другой казак, обращаясь ко мне, – в Благовещенску, – еще за царя, – обойщик был... Так до чего акробат был... Прямо, верите, шестидюймовый гвоздь в нос загонял и ничего...

– Ничего и есть, – заметил первый казак. – Потому гвоздь ему в череп заходит, и крышка: что ему сделается?

– Да, разные люди бывают, – помолчав, согласился второй казак.

Китаец успел упрятать ножи и извлек из сумки три шарика. Он ловко катал их вдоль руки, на лбу и на носу.

Дождь продолжал итти. Где-то ухнула пушка, и тяжело застонала земля.

– Эй ты, ходя! – воскликнул один из казаков. – Чему ж ты не идешь сражаться? А?

Китаец ничего не ответил. Он глубоко ушел в грязь обеими ногами, от дождя совершенно размок его халат, меховая шапка стала похожа на мокрую крысу. Лицо его было мокро, но хранило неподвижное и равнодушное выражение. Из-за тайги задул порывистый ветер. Пушка стала толкать воздух все чаще и чаще. Стон поднялся над болотом. На Амуре начинался бой. Это наши войска брали Лахасусу.

– Слышишь, ходя? Слышишь, как пушка-то играет? Ровно по морде бьет. Рраз, рраз! Аж гудит. А ты, ходя, почему воевать не идешь? Не хотишь? Небось, так-то оно ловчей – шарики на носу крутить? Ну, а ежели мы тебя в плен возьмем? А? Или убьем ежели? А?

Впрочем, казак был незлобив. Он прибавил:

– Ну, ну, крути, ладно! Все одно: и мы чай китайский пьем.

Кругом была тоска и безнадежность. Вой пушки смешался с воем ветра. Какие громадные усилия нужны, чтобы оплодотворить эту землю! Какие несметные горы того неопределимого капитала, который называется человеческой волей!..

Небо висело совсем, совсем низко. Оно было густое и серое, как пушечный дым. Шел дождь, и под ногами была грязь; сколько видно вокруг, была грязь.

Бася строит социализм!..

## Председатель

Я хочу привести дословно и без сокращений историю, которую мне рассказали во время одной из поездок на тракторе из Тихонькой на опытное поле. Рассказ показался мне тогда преувеличенным. Я думал, что Авраам Розенблат (он так и именовал себя через два «а» – Авраам), долговязый, неуклюжий еврей в брезентовом балахоне и кожаной фуражке, фантазирует и нарочито сгущает краски, зная, что говорит «для печати». В своем блокноте я окружил его рассказ целым роем вопросительных знаков. Каюсь, я даже предполагал обработать этот рассказ в виде повести о некоем брехуне на тракторе. Однако впоследствии, проверяя подробности, я приходил к необходимости зачеркивать вопросительные знаки один за другим. Беглая запись, сделанная в тайге на привале, оказалась безыскусственным куском правды.

– Видите этого молодого человека вон на той телеге? – начал Авраам Розенблат. –

Видите, – ноги свесил, и козырек у него на ухе, как у запаренного? Видите? Так он из прошлогодних, из первых, которые прибыли в самом начале, с первым эшелонном.

Молодой человек, о котором шла речь, был мне немного знаком: это председатель. Нето председатель сельсовета, нето кредитки, нето правления какого-то колхоза. Знаю, что зовут его председателем. Познакомились мы за бритьем. Я брился и порезался, он взял у меня бритву из рук и мастерски меня побрил. Я подумал, что он профессиональный парикмахер. Оказалось, по профессии он педагог и окончил высшее учебное заведение и еще в прошлом году был преподавателем в еврейской семилетке где-то в Полесье, близ Гомеля. Его захватила волна энтузиазма, поднявшаяся вокруг биробиджанской идеи, и он уехал на Дальний Восток.

Четырнадцать таких молодых людей и девиц, еврейских учителей из Гомеля подали заявления об увольнении со службы по случаю переезда в Биробиджан.

– Чистые сумасшедшие! Имели такой заработок и бросили все и поехали! Куда они поехали? В тайгу они поехали.

– Они приехали в мае, в конце мая, и стали блукать по Биробиджану, как те слепые котятка. Как вы не знаете здесь ни пути, ни дороги, так мы тогда не знали, и никто не знал. А беспорядок бы-ыл!..

Розенблат откинул голову, как человек, который хочет взять очень высокую ноту. Сказать о беспорядке простым тоном ему казалось недостаточным. Видимо, и беспорядок был не из простых.

Одним словом, никто ничего не знал, и конец! Ни переселенцы, ни начальники. Но вот привезли из Сибири коней и распределили тех коней, и стали переселенцы не абы как-нибудь, а уже с конями. Уже можно податься куда-нибудь на работу, искать что-нибудь делать. Ихняя компания – эта молодежь, эти учителя, значит, – получили землю на Озерном участке. Действительно, что участок очень красивый и приятный. Я это знаю, потому что я сам там был и видел. Ну, так они прибыли, поставили палатку и привязали коней и стали рубать лес, чтобы, значит, строить дом. И вдруг дождь как ни вдарил, так он шел и шел, и шел день, и еще день, и еще... Это началось знаменитое наводнение 1928 года! У их в палатке все поплыло. Они отошли подальше, где местность выше. Но вода поднимается и поднимается, и палатка снова плывет. Они уже хотят уходить назад, но невозможно: до дороги всего три версты, но эти три версты труднее, чем других двадцать, бо тут низина и ее затопило и вода такая, что кони тонут. Прямо, я вам говорю, они хорошо попались, эти учителя! Сидят, как на острове, а вода все ближе и ближе, а податься некуда, и удрать невозможно, и помочь никто не может, бо это далеко в тайге и никто за их даже и не знал, что они есть на свете. А тут гнус начал душить – комары и мошка! Но как душить? Как разбойник! Вы можете себе представить, что они были несчастные! Один говорит: давай будем палить что-нибудь, чтобы хоть был дым. Комары боятся дыма. Так палить нечего: до лесу близко, но затопило так, что никак нельзя пробраться. Стали жечь книги. Они же все учителя, так пришлось палить книги. Теперь вы понимаете, как им дошло до самой печонки, если они пошли на такое дело? Вы знаете, что для учителя книги? Но вы не знаете, что такое гнус в тайге!..

– Ну, стали палить книги, спалили книги. А кушать? Кушать нечего! Кушать – лихорадку! Так нашелся из них один и пустился вплавь до деревни и притащил хлеба и овса. Вода такая была, что человек едет на лошади, а лошадь тонет, и человек должен прямо не знаю как, на голове должен был той человек хлеб переправить и овес! Это была веселая жизнь!

– И вот ихний один товарищ заболел. Лежит человек, жар у него, и уже не знает, что он говорит, и глаза у него перевернулись, и он начал бредить. А тут вода прибывает, и под ним уже подняло постель. Ну, что тут делать? Оседлали они коня, положили того парня на коня и привязали, бо он был без памяти, и села на того коня одна ихняя учителька верхом, – ну, прямо девчонка, и повезла. На божью волю! Вывезет, так вывезет, а нет, так оба-два вместе утопят. И таки привезла она его на Амур, в Михайло-Семеновское, в больницу. Туда было

верстов с тридцать. Ой, если бы видели! Я стоял как раз на дороге и вижу, что кто-то чудной верхом едет. Смотрю – это она, Лиза, та учителька, везет больного. У меня аж сердце захопило! Сама она высохла, почернела, глаза горят в ней, как на сумасшедшей, волосы распущены, и она едет и держит на руках этого больного, а он был похож на покойника! И тут грязь, и дороги нет, и гнус душит, и дождь идет. Ай-ай-ай!

Наступила пауза. Гудел ветер из тайги. Я ждал, покуда Розенблат заговорит сам.

– Положим, им приказали оттедова вернуться! – сказал он через несколько минут.

– Кто?

– Партия приказала! Они бы там все передохли!

– Что ж было дальше? – спросил я.

– Дальше? Дальше было пятнадцатое июля.

– Это что значит?

Он перевел дух.

– Пятнадцатое июля – вот я, Авраам Розенблат, я вам говорю, что и через сто лет мы тоже будем помнить этот день. Пятнадцатого июля у одного колониста пала лошадь, то есть подход у него конь, и это всем не понравилось, как той конь подход. Позвали казацкого фершала, и той фершал сказал: «Будьте здоровы, евреи, что конь здох от симбирской язвы!» И как он сказал это, так он поднял большой гвалт: велел того коня спалить и хозяев взять в калартин, и чтоб все боялись и ждали, и кончено. И что же вы думаете? Стали дохнуть кони! Со всех колоний приходило одно известие: дохнут кони! По пятнадцать голов в день – верите? – дохли кони. За семнадцать дней мы все остались без одного коня, бо всего было около трехсот голов и все передохли, как одна копейка. Вся надея была на коней, что на конях можно будет начать работать в поле или куда-нибудь податься на заработки, и вот мы снова остались пешие, как камень в поле. Ой, было горе! Ой, горе! Ой, горе!

У него замутились глаза, он отвернулся и замолчал.

– Мы еще дома, в местечке, дошли до края, что называется, до последнего края. И вот мы сели и поехали в Биробиджан и ехали месяц. И вот мы приехали и находим беспорядок, как в сумасшедшем доме, и находим гнус и дождь, дождь и гнус. И потом оказывается на закуску, что тут эпидемия и кони все передохли. Плакали люди! Старые люди плакали, когда сваливали тех коней и обливали их керосином и палили, и они горели, и вся надея наша горела, и гнус душил нас, и шел дождь!

– Но это тоже еще не конец. Вот приходит известие из двух казацких деревень, где живут евреи, что начали умирать уже люди, и что паника, и колонисты разбегаются. А как же?! И вот тут мы увидели, что это за парень, этот председатель. Он взял и пошел пешком в эти деревни. Туда пятнадцать верст, а он идет пешком, бо своего коня он уже, слава богу, спалил, а у самого у него дизентерия, то есть он болен и имеет температуру, что ему вовсе надо лежать в больнице. Но он идет проводить собрание. Ну, вот! Что тут рассказывать? Приходит он туда, а там тоже палят коней, и люди плачут, и кругом неприятность и идет дождь, и гнус такой, что можно сойти с ума, и люди помирают, а кто еще живые, в одну душу кричат, что хотят домой! Так он берет, этот председатель, и собирает собрание и зовет старых казаков, чтобы казаки действительно сказали, какая здесь бывает жизнь. Ну, казаки по совести сказали, что местность здесь очень замечательная и всегда здесь хорошо, но раз в двадцать лет здесь бывают сильные дожди, и за это обижаться не надо, а надо переждать. Так говорили казаки. А потом он сам вышел и стал держать речь. Хотя все видели, что он больной и падает с ног, но между прочим колонисты решили остаться...

Здесь рассказ Авраама Розенבלата оборвался: у прицепленной к трактору телеги, на которой мы сидели, поломалась боковая перекладина. Это произошло неожиданно и едва не окончилось бедой: нам с Розенблатом повезло, мы сидели справа, но сидевшие на левой перекладине попадали, и их едва не задавила скатившаяся с телеги громадная бочка керосину. Пришлось рубить дерево и заменять поломанную боковину. Через часок мы двинулись дальше, и я попросил продолжать рассказ. Розенблат тяжело дышал: он только что тащил на себе срубленное дерево.

– Ну, что я вам еще скажу? – начал он через несколько минут. – Евреи, значит, решили остаться, и он вернулся. Но между прочим эта дизентерия не шуточки. Все начали болеть дизентерией! Может, мы мало горя имели, так на тебе еще эпидемию! Вы видели на опытном поле коровник? Так там стали класть больных. На койках и между койками и под койками лежали больные. И в каждом доме был больной. А как же? Эпидемия, так эпидемия! Прибегли люди из Дежневки и говорят, что там поголовно дизентерия, людей приносят с сенокоса на носилках, бо у их судороги. Кричат люди: «Куда нас завели? Что это за край за такой?» И что вы думаете? Опять он поднялся, этот самый председатель, и поехал в Дежнево и собрал там всех партийных и комсомольцев, и они постановили, что это фронт, огонь, тяжелая минута, и когда дизентерия, так нельзя дезинтировать и надо оставаться. И я вам скажу, что если бы не они, так тут бы ни одного человека не осталось! Когда люди видели, что тут трудность большая и кони горят десятками, так многие прямо падали в обморок. Но этот молодняк, эти учителя, что на них смотреть не на что, бо они все мальчишки, – так они показали пример! Вполне можно сказать, что они показали большой пример!..

Молодой человек, о котором была рассказана эта история, сидел на соседней телеге, попрежнему свесив ноги и попыхивая козьею ножкой. Это был на вид обыкновенный еврейский молодой человек – худой, немного сутулый, с большим некрасивым ртом, с грустными глазами. Он нисколько не был похож на свою историю: вид его можно было скорее назвать невзрачным.

– Вы его попросите, – продолжал Розенблат, – нехай он вам расскажет, как он ходил в Михайло-Семеновское, в рик, когда надо было справлять воинские документы для трактористов. Это было самое в потоп. Идет он в Михайло-Семеновское пешком, – шестьдесят пять верстов. Приходит вечерком в Михайло-Семеновское, а там за три версты от села начинается разлив, вода такая, прямо как в море. А лодки, конечно, нету и никого нету. Начинает он звать – никто не откликается. Начинает стрелять из леворверта, – опять никто не слышит. А комар душит, и укрыться негде. А сам он еще от болезни не поправился и слабый, и кушать же нечего, и вдруг выходит, что шестьдесят пять километров он сделал задаром Тут, знаете, он сам признавался, что сел на могилку, – там кладбище, – и таки заплакал. Дошло человеку до печонки! И что вы думаете – пришлось ему вертаться опять так само пешком. Он за трое суток сделал сто тридцать километров. Пара коней этого не сделает. Но зато как пришел он, так упал: ноги опухли, лицо и руки опухли. Совсем из сил выбился, потому что он же не казак какой-нибудь! Что он такое? Он не больше, как учитель! Так он таки схватил воспаление легких, и мы уже думали, что ему конец приходит. Но нет, все-таки вытянул. Человек ничего себе, подходящий!

Мне захотелось ближе познакомиться с председателем. На остановке, не зная с чего начать разговор, я намекнул ему на историю его приключений, которые были мне только что рассказаны.

– Вам здесь было изрядно тяжело, я слышал! Много пришлось пережить.

Он конфузливо улыбнулся и сказал, пожимая плечами:

– Пришлось немного работать не по специальности, но это ничего. В этом году мы ведь уже открываем школу!

## **Берег пылает**

Утро было тихое, воздух стоял сухой, небо было чисто, когда мы выехали, но вскоре стало заволакивать тяжелой оловянной тучей.

– Уж не пожар ли? – сказал, правда, довольно беспечно ямщик.

На Амуре осени сухие. Резкий ветер высушивает дороги и тропы, ссыхается и увядает трава, и деревья начинают быстро обнажаться.

Странный вид получается тогда: вот лежала грузная гора, покрытая густою зеленью, – зелень была густая, как шерсть большого зверя. Но прошел трепет осени, унес листву, унес траву и кустарники, и вот гора лежит обнаженная, точно оборванная, ободранная. Как после

побоища!

Сухо в воздухе, небо сурово, и огонь начинает тогда носиться по пустыне. Он мчится, как озверелый ветер, как весть о несчастье, как грозная болезнь. Он появляется неизвестно откуда и катится по высохшей траве. Он сжигает луга, пастбища, поля. Страшно тогда. Некуда укрыться от его дыхания. Огонь пожирает необъятные пространства, и пепел ложится опустошением на места, по которым он прошел. За десятки километров видно, как свинцовый налет дыма поднимается к небесам и застилает последнее сияние еще теплого солнца.

– Не иначе пожар, граждане! Большое горе бежит на людей, – повторял наш ящик, поглядывая на небо.

К вечеру мы были на Амуре и сели на пароход. Ночью мне не спалось. Я вышел на палубу. Было совершенно темно. Дверь выходила на китайский берег. Я обогнул корпус парохода и вышел к противоположной, советской стороне.

Я увидел страшное зрелище: пылал берег. В этом месте горы извиваются вдоль реки, Хинган то поднимает вершины кверху, то ныряет в глубину и проваливается в Амур.

Я не мало исходил здесь с ружьем и хорошо помню, как бывало тяжело бороться с непроходимыми зарослями. Теперь там бегал и хозяйничал огонь. Он задумал дикое дело: ему как будто надо было сдвинуть сопку с места, утащить ее с собой, и он обхватил ее причудливой петлей. Он выжег почти правильный круг у ее вершины, затем скатился по хребту вниз, в овраг, и уперся в дно оврага, как бы укрепился там, чтобы лучше тащить сопку вниз.

Не знаю, как долго стоял я на палубе, оцепеневший и замороженный. Я видел, как огонь взбежал на следующую сопку и стал ее тоже опоясывать.

Была темная ночь. Кругом стояло безмолвие пустыни, небо было красно, и казалось, что горит весь мир. Наш пароход с его сотнями пассажиров, с его громадным трюмом, в котором лежали десятки тысяч пудов груза, казался жалким утенком на воде, а на берегу, прокладывая себе страшную свободу, гулял хищник.

На палубу вышел мой спутник.

Белопольский – биробиджанский колонист. Но приехал он не из Белоруссии и не из Украины, а из Южной Америки. Белопольский родился в маленьком местечке Подольской губернии. В 1905 году ему было пять лет. Его старшие братья участвовали в революционном движении и были заточены и сосланы, отец был убит на погроме.

Остатки его семьи эмигрировали в Южную Америку. Там он рос, учился, работал, вошел в жизнь. Что связывало его с Россией? Что оставил он здесь? Ничего.

И вот появился Биробиджан. Белопольский поехал в Биробиджан. Он бросил веселый город Буэнос-Айрес и поехал в тайгу. Он нашел здесь участок погуще, где прокладывает дорогу экскаватор, и вот он работает там в качестве не то техника, не то механика.

Он не один здесь такой: весть о новой еврейской отчизне в стране Советов гулко прошла по странам, где погибает еврейская гольтьба. Целыми группами прибывают иностранные евреи в дикую страну, где евреи советские начали строить человеческую жизнь.

В большинстве они выходцы или дети выходцев из России и эмигрировали после погрома 1905 года.

Я хорошо помню погром 1905 года... Я особенно хорошо помню добродушное отношение самих погромщиков к их делу. У меня был приятель, Борька Степанюк. В детстве мы вместе гоняли голубей, и: всякие другие дела мы тоже обделывали компанейски: общий пистолет имели, инкогнито питались грушами в соседском саду. А потом нето его жизнь, нето моя съехала куда-то вбок. Мы расстались и не виделись несколько лет. Зимой 1905 года я приехал на родину и повстречал Борьку, Борька вырос, стал высокий, здоровый, мордатый парень и одет был во все новое, – из-под нового пальто выглядывали новенькие плисовые шаровары. Повстречались, обнялись.

– Борька, – говорю я между прочим, – где это ты такой одяг славный достал?

Борька широко улыбнулся.

– Та на забастовке, – сказал он, ласково трепля меня по плечу.

Объяснение было непонятно: на какой такой забастовке можно, например, разжиться материалом на плисовые штаны?

– Та-ж в октябре! Ты що-ж не знаешь, що у нас тут по за манифестом забастовка была?

Городок наш был не индустриальный. Не было там предприятий, где работало бы больше 4–5 человек, забастовок у нас, кажется, и вовсе не было. Однако в погроме, который организовало министерство внутренних дел в ответ на всеобщую всероссийскую забастовку, приняла участие, в сослужении двух священников, и наша скромная полиция. Дельный вышел погром! Еврейские торговые ряды были сначала разграблены, а потом подожжены.

Борька Степанюк разжился плису на штаны и опять же пальто справил себе подходящее как раз именно благодаря этой «забастовке», которая прошла «по за манифестом». Не было бы забастовки, никогда не справил бы себе Борька такое пальто и штаны такие плисовые.

Дело не в том, что время от времени полиция находила отребье, которое за полбутылки ходило резать евреев. Самое примечательное было то, что добродушные и простые Борьки, которые с нами вместе гоняли голубей, уходили на погром по первому свистку, а потом говорили, что штаны добыли на забастовке.

Белопольский стал вместе со мной смотреть горящий берег. Пожар был страшен.

Огонь шествовал, гремя и полыхая. Он шумно и тяжело боролся с лесом, он обгладывал стволы деревьев, выжигал в них глубокие дупла, он сваливал вековые великаны и по стволам перескакивал с одного на другой. Десятки, сотни, тысячи деревьев уже, повидимому, были охвачены пламенем.

– Ну, что вы так уставились на этот пожар? – внезапно сказал Белопольский. – Что тут, подумаешь, такого?.. Ну, горит лес! Ну, много леса горит! Так что?..

Пламя уже взгромоздилось на вершину новой сопки. Было похоже, будто какой-то один огонь – вожак шагает впереди, а за ним, все ширясь и разрастаясь, стремительно бежит целое племя огней.

Но Белопольский, точно и не видя грандиозной картины, стал седлать, я заметил, своего любимого коня.

– Это хорошо – Биробиджан! – ни с того, ни с сего завел он. – Пусть будет еврейская территория в Союзе! Это хорошо! Этот несчастный еврейский вопрос может перестать быть вопросом только в социалистическом обществе. Как ваше мнение?

Мое мнение совпадало.

А берег все пылал и пылал.

Я как будто впервые узнал в эту ночь, сколько неизученного, таинственного и грандиозного кроется в этом странном, нерусском слове тайга. Я знал молчание тайги; я знал ее таинственный гул, похожий на морской прибой; я знал ее тайные красоты; ее поляны, неожиданно открывающиеся среди густых зарослей; ее ручьи, озера, болота, топи, цветы.

В огне я видел ее впервые.

Белопольский задумался. Но не надолго. Вскоре он снова заговорил. Но, странно, на сей раз в его голосе звучали какие-то другие, более глубокие и серьезные ноты.

– Вот вы все любуетесь необыкновенным пожаром, – начал он. – А для нас, для того мирового еврейства, которое трудится и страдает, которое погибает от нищеты, от подлых законов, от антисемитизма, – для нас на этих берегах горит путеводный свет. Мы придем в Биробиджан и построим здесь фабрики и заводы, дороги и города. И нового человека мы создадим. И это все будет социализм.

Он явно волновался. У него дрожал голос.

– Вы, ведь, знаете, – продолжал он, пересилив себя, – когда-нибудь Америка должна будет уступить свое звание Нового Света вот этим необозримым пустыням. Новая цивилизация построится на берегах Тихого океана. И фундамент этой цивилизации будущего, – цивилизации равных, зложим здесь мы.

Потом он повернулся и бросил мне, не без ехидства:

– Так что вы пока любуйтесь пожаром, а я пока пойду спать. А часа через три вы тут увидите на берегу другой огонь – электрические лампочки. Тогда разбудите меня: это будет еврейская колония Амурзет.

Выбросил окурочек за борт и ушел.

Хороший он парень, Белополюский, – энтузиаст, зажженный человек, идеалист и к тому же дело свое, говорят, хорошо знает. На таких чудаках свет стоит.

Но каков удельный вес идеалистов в Биробиджане? Они – дрожжи. Без них, без таких энтузиастов, конечно, не может быть больших массовых движений, но одних дрожжей мало.

Что сейчас привлекает в Биробиджан широкие еврейские массы? Что заставляет именно их ездить в тайгу, за десять тысяч километров от дома?

Этот вопрос, самая его постановка требуют некоторого пояснения.

Выход евреев на землю, начавшийся стихийно в 22–23 г. г., был единственным возможным разрешением вопроса об избыточном населении бывшей «черты оседлости». Движение укрепилось, оно вросло в жизнь. Десятки тысяч еврейских семейств стали орошать своим потом засушливые почвы Крыма и степи Украины. Они тяжелым трудом добывают из земли золотой хлеб, – свое право на равное место среди прочих трудовых народов Союза. Но процесс переселения – мучительный процесс, он тянется долго, потому что средств мало, а голытьбы много.

Еще в 1929 г., в мое первое пребывание в Биробиджане, у меня не возникало вопроса, зачем сюда едут евреи: достаточно было взглянуть на них, чтобы понять, что большинство просто-на-просто удрало от голодной смерти.

Но уже через год, в 1930 г. положение изменилось сразу и резко. За разрешение вопроса об избыточном населении различных местностей Союза взялась индустриализация. В стране нет безработицы – значит, нет оснований и для массовой эмиграции и далекого переселенчества. Не поставлена ли под угрозу идея создания еврейского Биробиджана? Нужен ли Биробиджан еврейской массе? Хватит ли евреев?

Вот почему, слушая Белополюского, я спрашивал сам себя:

– Ну, а как евреи не-коммунисты, и не-меха-ники? А главное, не энтузиасты из Буэнос-Айреса, а массовики из Голты?

## **Певчика взяло за характер**

Мы собрались с участковым агрономом в поле, и я ждал его у конторы, держа под уздцы наших коней. Агроном долго не шел. Я думал, он по обыкновению завозился, просто не отпускают его посетители. Но вот донеслись до меня обрывки разговора, который велся в конторе довольно повышенным тоном.

– Нет для меня никаких идей! Это для дураков и для интеллигентов! А я сижу в Биробиджане, покуда я имею заработок и покуда мне хорошо. Как я перестану зарабатывать, так пускай Биробиджан начнет гореть со всех сторон.

Голос был мне знаком. Я заглянул в окно, – так и есть, – это колонист Певчик с Украины. Я встречал этого приземистого, коренастого парня уже не раз. У него неприятный резкий голос, резкие, почти обезьяньи жесты, и что-то неприятное во всей фигуре.

Агроном заметил Певчику, что нельзя, просто некрасиво так цинично выражаться: идея Биробиджана должна объединять сотни тысяч трудового еврейского люда.

– Да и вы сами, Певчик! Еще недавно вы пропадали у себя в Подольской губернии, как муха! – говорил агроном. – А здесь, в Биробиджане, я вижу, по крайней мере, что вы и в сапогах и в теплой куртке. И деньги вы ежемесячно тоже высылаете домой. А приехали вы босой, оборванный, ободранный и ели казенный хлеб. Через два-три года здесь будет жизнь, Певчик! Большая жизнь здесь будет, и вам тогда будет стыдно, что вы так говорили.

– Что вы смотрите на мои сапоги и на мою куртку? – воскликнул Певчик. – Я их сам заработал. Я за этим приехал сюда, чтобы зарабатывать.

Он внезапно закричал:

– А идеи мне не нужны! Я не приехал в Биробиджан мучиться! Я приехал жить! Я хочу жить!

Потом были слова, которых я не расслышал, и опять голос Певчика:

– А вы думаете рубать лес – это не работа? А копать землю – это не работа? Вот теперь поставили экскаватор. А в прошлом году вы видели, как мы руками землю копали? Я был портным и привык держать иголку, и вот мне дали лопату и тачку и иди копай землю, и кончено. Так разве мы не копали? Копали и молчали!

– Ну, положим, ты-то не очень молчал! Ты всегда был крикун и скандалист, – вставил кто-то в конторе.

– Я только за правду делаю скандал! Меня взяло за характер, когда нас погнали рубать лес, и потом я увидел, что с этим лесом делают.

Я насторожился.

– Что делали о лесом? – спросил агроном.

– Как, что? Мы с утра до вечера рубали лес, такой лес, такие деревья! И вдруг оказывается, что их отправляют на экспорт в Ямпонию!!! Вот это я ехал десять тысяч верст, чтобы готовить лес для Ямпоии?

Певчик распалился и стал поносить нашу восточную соседку. В конторе раздался смех.

– Я приехал в Биробиджан не для того, чтобы готовить лес для Ямпоии и не для того, чтобы кто-то имел о чем писать в газетах, что строится еврейское государство! Я за еврейское государство не дам двух копеек, и всегда буду работать только там, где мне выгодно! Пока в Биробиджане выгодно и, как вы говорите, я могу себе справиться сапоги и одежду и посылать деньги домой, я – за Биробиджан. А коль скоро тут заработков не будет, то факт, что меня тоже не будет, и вы будете скроить вашу еврейскую республику с одними медведями. Только не забудьте их обрезать.

Дело обещало затянуться. Меня раздражал этот Певчик. Я позвал агронома, и мы, наконец, выехали.

Чистое поле стелилось перед нами. Ветер гладил золотистые волосы земли. Солнце играло на озерке. В небесах парил орел.

– Трудновато вам о публикой! – сказал я, чтобы вызвать агронома на разговор.

– Трудновато? – неопределенно переспросил он. – Нет, что ж?! Публика, правда, немного специальная, но можно ли обижаться? Эти люди разъедены долгой нуждой, да и всем своим прошлым, как едкой ржавчиной. Но это знаем только мы, а история этого знать не будет.

Я не совсем понял. Он заметил это и пояснил:

– История этого не будет знать, потому что люди здесь очень быстро меняются. Местечковость выветривается. Тайга берет человека в работу. Другими здесь становятся наши евреи.

После минутной паузы он прибавил:

– А самое главное, знаете что? Самое главное, вот что: местечковость – это от пустой жизни. А сейчас у еврея в Биробиджане жизнь наполнена важным делом, которое возвышает его. Я имею в виду идею создания еврейского Биробиджана.

Агроном смолк. Просто, под ним конь споткнулся и неожиданно перебил его речь. А я не заметил этого и подумал, что агроном замолчал по другой причине: потому что хотел что-то оказать, да не знал, как выразиться.

Я позволил себе резкий вопрос:

– Вы действительно думаете, что евреи едут в Биробиджан строить свою национальную страну? Вы действительно думаете, что евреям нужен свой, национальный Биробиджан?

Я не знал, что мои вопросы граничат с личной бестактностью в отношении агронома: я не знал, что он – горячий поборник идеи еврейского Биробиджана. Оказалось, он именно ради нее бросил спокойную работу у себя на родине и приехал за десять тысяч километров в тайгу исключительно за тем, чтобы строить еврейский национальный социалистический

Биробиджан.

Мне везло: на протяжении одной недели я встретил уже второго фанатика идеи. Я так и ждал, что агроном повторит рапсодию Белопольского. Но я решил перейти в наступление. Я перевел разговор на Певчика.

– По-моему, можно приспособить Певчика к работе. Но как приспособить его к идее? – Этот вопрос я задал агроному.

– Ну, что ж, – сказал он. – Давайте поговорим о Певчике. Имейте в виду, что этот подлец Певчик может сейчас хорошо зарабатывать не только здесь. Разве у себя в Подольской губернии он не мог бы устроиться? Разве там не нужны рабочие руки? Разве там не строятся тракторные станции, сахарные заводы, совхозы, колхозы и, одним словом, все? А ведь вот сидит же человек здесь и, хоть ругает «Ямпонию», а рубит лес и возит его не хуже других. Что это значит, по-вашему? Какая фея его околдовала, этого циника? Не можете сказать? Тогда посмотрите еще. Пусть он пожелает поехать в любой город Дальнего Востока, и он там прекрасно устроится. К тому же он будет жить в доме, а не в срубе, и будет встречаться с барышнями, а не с медведями. А ведь вот сидит же человек здесь. И именно в Бирефельде, среди тайги и болот. Что это значит, по-вашему? Я вам говорю, Певчика удерживает здесь идея еврейского Биробиджана. Что бы он ни говорил, этот грубиян. Это она гонит сюда сотни евреев. Они все могут легко найти заработок в любом другом месте Союза. Но в Биробиджане их ждет моральная прибавка – идея создания своего, еврейского угла. Это она привлекает сюда массы за десятки тысяч километров. Это она удерживает их в тайге и на болотах.

– А вы-то хоть интересовались, почему едут евреи в Биробиджан? – спросил он в заключение.

Этот вопрос – самый основной из всех, интересующих меня. С этим вопросом я обращаюсь чуть ли не к каждому переселенцу. Верно: очень многие говорят о желании строить национальное государство. Но, кто их знает, вполне ли они искренни с посторонним человеком, да к тому же с представителем печати? Уж не усердствуют ли они по официальной линии?

– А вы не углубляли беседу?

– Углублял. Но, откровенно говоря, много из этих людей не выжмешь. Я спросил одного колониста, почему он не стал заниматься земледелием у себя на Украине, и он ответил: «У меня на Украине во время погромов вырезали двадцать человек родных. Мне стало тесно среди могил». Это сказал в Бирефельде высокий еврей лет сорока.

– Ну, что ж! – заметил агроном. – Эту трагедию пережили десятки тысяч евреев. Она родит в них желание жить на земле, которая не была бы залита еврейской кровью. Конечно, сами по себе эти слова – литература. Но, когда является реальная возможность начать строить какую-то жизнь наново и в, другом месте, то люди за эту возможность хватаются.

Нашу беседу пришлось приостановить: агронома заметили из тракторной колонны и стали звать к себе. Мы свернули на целину, и минуты через три агроном был занят совершенно другими делами.

А еще через полчаса мы снова были одни в поле и направлялись к следующему тракторному пункту.

Агроном неожиданно вернулся к прерванному разговору.

– Знаете, – сказал он, – что-то сделалось с евреями! В этом году биробиджанские призывники пошли в армию, несмотря на то, что имели отсрочки как переселенцы. Думаете, пошли комсомольцы? Нет, беспартийные. Почему? В чем дело? Что за спешка такая? Почему, например, Шварцман из Бирефельда сам попросился во флот? Это, ведь, на пять лет! Когда это в России еврея-призывника тянуло на какие-то там бом-брам-стенги? К тому же на пять лет? Можете сказать?

Не дожидаясь моего ответа, он сам констатировал:

– Не можете сказать.

Этот Шварцман, о котором говорил агроном, мне известен. Я бывал у него в

Бирефельде. На столике под зеркалом лежал набор новенького парикмахерского инструмента: это дома, провозжая его в далекий и безвестный край, товарищи подарили ему из последних грошей:

– На, мол, прокормишься!.. А в случае чего, продашь, домой доедешь!..

Шварцман был дома парикмахером, а здесь его инструмент стоит нетронутый. Здесь бывший парикмахер работал на механической жатке. Она, правда, построена по принципу парикмахерской машинки, но номер не тот. Номер больше.

Я сказал об этом агроному, и он заметил:

– Ну, вот видите! Как по писаному!.. Даже неловко от такой азбучной наглядности.

– То-есть!..

– Да вот, – переменялись орудия труда и переменялся человек. Как вы выражаетесь, – просто номер не тот! Человек расправился. Он стал во столько же раз больше, во сколько жатка больше парикмахерской машинки.

Воздух был в поле чистый, небо было ясное, и в этот день я агронома этого участкового полюбил. Я полюбил его за то, что он настоящий, хороший агроном: он любит людей. Он так хорошо говорил о перерождающем влиянии труда и государства, что я понял: он хороший агроном, он знает, как пахать поле, и он чувствует человека. По-моему, кто не чувствует живого человека, не умеет толком смазать и колесо у телеги. Это мое мнение.

– Понимаете, – говорил, например, агроном, – когда Шварцманы были прикреплены к парикмахерской машинке, они терпеливо делали свою жизнь: они уклонялись от военной службы, плодились и нищенствовали. Теперь Шварцману развязали руки. Его выбор свободен. Тогда он выбирает колхозную жатку и службу на бушприте. Очень просто. А потребность в своей национальной территории – это что такое? Она – производное этого громадного внутреннего перерождения. Вы здесь на любом маленьком Шварцмане можете видеть всю картину духовного развития советского еврея за годы революции: от парикмахера до колхозника-тракториста, и от борьбы с околоточным за правожительство до борьбы с тайгой за свой, за социалистический еврейский Биробиджан. Поняли?

Все это было понятно, но почему все-таки Шварцман и его товарищи пошли в армию раньше срока? Ведь это значило, покинуть свой Биробиджан!?

– Не покинули они, не бойтесь! – возразил агроном. – Каждый уехал, в основном обеспечив свое хозяйство и семью. Призывники отказались от отсрочки и поторопились в армию, чтобы стать еще тесней и ближе к государству. Ведь, можно сказать, государство дало им жизнь.

Признаюсь честно, я не хотел сдаваться. Я на помнил про вопли Певчика, про его восклицания: «Я не приехал сюда мучиться». Эти слова на каждом шагу можно услышать в Биробиджане. Они вошли здесь в поговорку.

– Но поговорки надо понимать! – не без раздражения отозвался агроном. – Эта поговорка значит, что молодое еврейство идет здесь на тяжелый труд, на отчаянную борьбу с природой, на испытания, на лишения, на настоящие мучения. Но оно хочет, чтобы все это было с целью. «Мучиться» – значит теперь в Биробиджане нищенствовать над иглой, шилом, помазком... Не хотят этого новые молодые евреи, и кончено. Желаете факты?

– Вы знаете, что в Биробиджане открылось несколько еврейских производственных артелей. Вот открылся, например, кузнечно-обозный завод, открылась мебельная фабрика, чемоданная фабрика. В Биракане организовалась крупная артель по обжигу извести. Есть среди прочих также артель портных и артель чулочников – старые еврейские профессии, опора местечка. Так вот, в колхозах и совхозах, т. е. за трактором, за плугом, с топором, с лопатой работают несколько тысяч человек; в артелях тяжелого труда – несколько сот. Людей нехватает! А артель портных и артель чулочников насчитывает, знаете, сколько?

– Ну?!

– По пять человек каждая! Не идут туда евреи! Почему? Можете сказать? Не можете сказать...

Навстречу показалась в облаке пыли таратайка.

Щуплый еврей в кепке, нахлобученной на самый нос, лениво подгонял каурую кобылку, а с таратайки доносились визг, хохот, крики: она была до отказа набита молодыми парнями. Сидеть им было неудобно – в воздух то-и-дело взлетали ноги в сапогах, – но все были веселы. Поравнявшись с таратайкой, мы с агрономом оба с удивлением заметили, что пассажиры были не парни, а девчата, к тому же явно еврейские девчата.

– Да это бабы! – со смехом воскликнул я.

Но с таратайки мне крикнула какая-то краснощекая девица в гимнастерке и фуражке:

– Нынче баб нет! Нынче бабы сваи забивают!

– Знаете, кто это? – спросил агроном. – Курсистки! Девушки, которые учатся на курсах. А на каких курсах, знаете? На плотничьих курсах. Они обтесывают кедры и складывают дома, в которых строится новая еврейская жизнь. Почему они не идут в чулочницы? Можете сказать?

– В тайге на пасеке, вы видели, живет одинокая девушка из Умани. Она и старик – сторож. К ней на пасеку медведи лезут, как к себе домой. А она ничего, живет. Она – пчеловод. Когда это еврейские девушки привыкли жить в одиночку в тайге, как в скиту? Почему она не пошла в чулочную артель? А? Можете сказать?

Он по обыкновению сам себе за меня и ответил: «не можете сказать».

Он был прав. Что мог бы я сказать? Какими простыми словами объяснить все эти дела, которые видишь в Биробиджане? Что сделалось с евреями? Кто сделал это с ними?

Они лежали в пыли и прахе, ничтожные социально и ничтожные физически. И вот пришла година ломки и крушений, и их жизнь поломалась и крушилась; пришло дыхание огня и спалило их; пришел вихрь и кружил их.

Революция пришла. Она сказала им:

– Идите, трудитесь и живите!

И вот они встали. Они выпрямили спины и покинули гноища отцов. Они трудятся и живут. Они стали новыми людьми.

## Танцы

Я приехал в Бирефельд на несколько часов, а вышло так, что пришлось заночевать. Знакомый тракторист повел меня на ночлег к своим землякам, переселенцам из Полтавской губернии. Хозяева были гостеприимны, но устроиться было пока невозможно: в доме занимался кружок молодежи – фельдшерица давала урок гигиены. Я решил пройтись немного по селу, зайти к доктору. Вернулся через час. Во дворе, у ворот встретил хозяйку.

– Не везет вам! – сказала она. – Опять спать нельзя. Урок кончился, но сегодня наш молодняк загулял.

Из дома доносилась гармонь. Я вошел. Было тесно и душно, баянист захлебывался и заливался, закатив глаза, и грохотали сапоги об пол. Это танцевала аудитория фельдшерицы. Играл в углу долговязый парень в ухатой меховой шапке. Ухи были приспущены, шапка заломлена набекрень. У парня была цыгарка в уголке рта. Лицо было у него добродушное; оно взволнованно застыло, а глаза были неподвижно устремлены вперед.

Какие видения носились перед ними, покуда пальцы ловко перебирали клавиши?

Убогое детство в местечке? Родители, замученные нищетой? Юность, окровавленная погромами? Гражданская война – грохочущий предвестник другой жизни? Или непостижимое и загадочное будущее в тайге, среди сопок Хингана?

Где-то я видел гармониста с такими глазами...

Это был солдат, самарский мужик. Немцы взяли его в плен. Он бежал от немцев в Бельгию и через фронт пробрался во Францию. Мы вместе возвращались во время войны в Россию. Нас было четыреста солдат. Мы носились двадцать пять суток по морям. В Ледовитом океане мы попали в белые ночи и проводили почти круглые сутки на палубе. Самарец играл на гармонии, а мы плясали. Нас трепали жестокие бури, мы голодали и проигрывали друг другу в карты еду, вино и табак и не знали, доплывем ли до земли, или нас

потопит немецкая подводная лодка. Но люди плясали, громко топая каблуками, и не думали. Один только самарец сидел на снаряжном ящике с неподвижными глазами. Пальцы ловко перебирали клавиши гармошки, а на лице застыло выражение добродушия, неподвижные глаза смотрели куда-то далеко. Они точно вобрали в себя всю тревогу за родной далекий дом, за нас, за войну, за весь ужас жизни. Никто не догадывался об этой его тревоге, потому что лицо было тоже вот так смело и добродушно, а руки делали свое дело: они играли.

Парень в меховой шапке напряженно играл старый вальс. Рядом с ним сидел паренек помоложе – белокурый курносый казак. Он ловко выстукивал двумя деревянными ложками по колену мелодию, которую еврей играл на гармонии, и подпевал себе вполголоса:

Зачем же ты топчешь ногами  
Невинную душу мою?  
Да будь же ты проклят богами  
За злую измену твою!..

Плясали, кто как умел. Здоровенный увалень, тракторист-еврей с Украины, ввалился в болотных сапогах. Он вышел на середину комнаты и грузно остановился. Утвердившись на левой ноге, он выждал такт и стал пристукивать правой. Он делал это, чуть-чуть приседая, подпевая и прищелкивая пальцами. Ни для мелодии вальса, ни для темпа это все не годилось, но парень был доволен, и остальные были довольны. Все кричали: «Браво, Меер!»

Когда Меер отошел в сторону, обливаясь потом, появился другой тракторист. Мы с ним провели только что трое суток в пути. На тракторе он не имел человеческого образа: сапоги были в грязи выше колен, рабочий балахон был пропитан нефтью и смазочным маслом, лицо было совершенно черное, как уголь, руки были по локоть в грязи.

Я его не узнал.

Он явился на танцульку тщательно умытый и выбритый, в белом воротнике, в галстук, в новом костюме. Желтые ботинки тоже сверкали новизной. Он жеманно подхватил какую-то девицу и стал кружить ее в вальсе.

– Такой аккуратный парень, а между прочим жена его спокинула! – сказал мне еврей, сидевший рядом со мной.

– Почему?

– А кто их знает? Тут целое происшествие...

Это была история, какие часто случаются в новых странах. Тракторист познакомился с красивой переселенкой из Умани. Женщин здесь мало. Тракторист женился на третий день. Но на шестой день ее отбил другой тракторист. Чем он был лучше первого, неизвестно. Но он был осторожней: чтоб избежать дальнейших увлечений молодой особы трактористами, он увез ее из Биробиджана.

– Они уехали на Сахалин. Там много теперь евреев работает на рыбалках и на нефти.

Со двора доносился ветер, шел дождь, а в доме гремела гармонь, стукали ложки, и тракторист кружил в наивном вальсе свою тоску по уманской евреечке, которая бросила его здесь одного в тайге, а сама умчалась на сахалинские рыбалки.

– Перемени, Мишка! Перемени! Вдарь веселую, Мишка! – нетерпеливо приставала публика к гармонисту.

Но он, как на зло, играл одни только вальсы.

Он сыграл «Спекулянтку». Ложечник подпевал, мотая головой и вытягивая шею на высоких нотах:

Твоя мама спикюлянка,  
Пироги пичоть...

Длинный, непохожий на еврея юноша в белой рубашке, в черных брюках и с таежным ножом на боку кружил приземистую и полногрудую еврейку с наивными и немного

испуганными глазами.

– Это немец! – пояснил мне все тот же мой сосед. – Немец-колонист. Их тут два брата – Фриц и Эрнст, и они уже двух евреек просватали. Это Фриц.

История этого сватовства была не совсем обычна.

Некий немец, сын колониста, женился на еврейке-портнихе. Жили где-то в Белоруссии. Дела шли скверно.

– Сами знаете, какое теперь шитье, когда все покупают готовое платье.

Еврейка пошла в Озет и исхлопотала наряд на землю: муж-крестьянин видел в этом способ поправить дела и перестроить жизнь. Получили наряд на Биробиджан.

– Биробиджан? – они себе подумали. – Это далеко. Нехай папаша едет посмотреть. Вот это сидит там сбоку ихний папаша, видите?

Он указал мне в углу на коренастого бритоголового человека лет пятидесяти, который дымил трубкой и беседовал с двумя пожилыми евреями.

– Это ихний папаша. Он приехал сюда за ходока. А дальше было, как в библии. Вы знаете, как было в библии? «И посмотрел папаша вокруг и увидел, что хорошо, и сказал – хорошо».

Сказав библейские слова, папаша дал знать своему сыну, чтобы он приезжал поскорей и захватил уже заодно мамашу и сестер и братьев. Эта еврейско-немецкая семья состоит из четырнадцати душ.

– Так слушайте, что дальше было! Пока он ждал семью, этот папаша, так он подружился здесь с одним евреем. Вот он сидит там, видите?

В углу сидел обыкновенный еврейский парень в рыжей куртке. Только что он танцевал, а теперь отдыхал.

– Так они подружились, – продолжал мой сосед, – и пошли косить сено. Месяц косили и накопили две тысячи семьсот пятьдесят пудов. Вот какие здесь сенокосы! А потом приехало семейство, так папаша послал сыновей и опять того еврейчика, и они за неделю взяли еще тысячу пудов. Теперь папаша говорит, что надо взять еще тысячу, так он будет строить дом без всякого кредита.

Папаша, очевидно, почувствовал, что мы говорим о нем. Он пересел к нам. Я спросил его, как он думает делить барыши со своим компаньоном-евреем.

– А он у меня дочку берет, – ответил папаша, – и переходит в наш дом жить.

Папаша помолчал, закрутил ус и, мотая головой, прибавил:

– Ох, и большой дом надо строить! Подумайте только: того еврея беру за сына. Вторая дочка тоже за еврея выходит, да два парня моих тут закрутились с двумя еврейками – Фриц и Эрнст. На той неделе, боюсь, придется четыре свадьбы справлять. Эх!..

Папаша крякнул: многое в его жизни приняло неожиданный оборот.

А Фриц продолжал танцевать чинно, правильно, сохраняя каменное лицо. Еврейка, откинув немного назад голову, давала себя кружить и лишь изредка подымала на своего кавалера испуганные и влюбленные глаза.

Я почему-то принимал ее за хозяйскую дочь, Я ошибался. Она – соседка, подруга хозяйской дочери.

– А хозяйская дочка вон та – высокая, в сапогах, – сказал мой сосед.

Высокую девушку в сапогах я видел днем во дворе. Я думал, она здесь батрачка.

– Она даже не хозяйская дочка, а сама хозяйка. А та старуха, что ее мать, то она не хозяйка, а хозяйкина мать.

Сосед указал на двух еврейских парней, сидевших в углу. Я их видел уже. Днем на селе они возили сено. Я принял их за казаков: они носят на поясе за спиной, под левой рукой, большие ножи в самодельных деревянных ножнах. Без этого в тайге трудно. Казаки все носят такие ножи.

– Эти парни – братья. Девушка в высоких сапогах – их сестра. Они – из колонистов прошлого года.

Эти два парня и их сестра, – ей лет семнадцать-восемнадцать, перенесли наводнение и

сожгли туши своих коней. Зимой они работали в тайге на лесозаготовках. Они заработали на сене. Они голодали и выворачивались наизнанку, но к концу лета они поставили дом. Когда дом был построен, они выписали из местечка родителей. Теперь по домашнему хозяйству работают старики, а они трое продолжают спорить с тайгой и с болотом.

Я снова присмотрелся к ним. Да, пожалуй! Если бы стереть с лица эту красноту, которую навели степные ветры; если бы немного смягчить лесную суровость, иногда мелькающую во взгляде; немного изогнуть спину; если бы вместо кнута дать ему зонтик, а вместо кубанки напялить широкополый котелок, – да, пожалуй, старший был бы похож на местечкового еврея.

Младшего трудней вернуть к местечковому облику. Разве потушить эти задорные глаза? Разве стереть с лица выражение какой-то новой решительности? Как заменить эти скучные, медлительные движения суетливой жестикуляцией?

Девушка внесла здоровенный самовар, ведра в два, – старинный, томпаковый пузан с шариками: бабушкино приданое. Затем она унесла заснувшего братишку, мальчугана лег восьми. Она взвалила его себе на плечи, как мешок, бойко отнесла через комнату и, вернувшись, снова стала танцевать, трясая кудрями. Затем, среди танцев, она вспомнила о больной корове и побежала в хлев. Да! Она хозяйка!

Пожалуй, уже и ее надо было бы очень долго гримировать, чтобы вернуть ей обычный вид местечковой девушки, какой она приехала сюда полтора года назад.

Пришел новый гость, долговязый, здоровенный парень с белокурым чубом.

– Возьми, Федька, гармонь! Грянь веселую! – стали просить его со всех сторон.

Гармонист, уставший за целый вечер, сам протянул Федьке инструмент, и парень, без отнекиваний, сел играть. Он попробовал ряды и сразу грохнул правильную плясовую. Сумасшедшие, веселые и наивные звуки высыпались, как горох из мешка. В неудержимом грохоте гармошки, среди стука и топота обезумевших ног, в тумане пыли и веселья молодежь кружилась плясала и гикала.

До поздней ночи не давали мне спать танцоры– сыновья местечковых портных и водовозов, дочери искателей «еврейского счастья», дети голытьбы, сутулой от нищеты и горя.

Рука могучей эпохи вырвала их из недр унижительного убожества, где жили и умирали их отцы. Она подняла их и высоко швырнула, и они летели над тревожным миром. И вот они упали у края земли, – там, где начинается неведомое и страшное – тайга. Они не отступили перед ее грозным и зловещим гудением, не бросились назад, столкнувшись с ее суровостью. Они выстояли в первой, самой решительной схватке.